



МЕСО ПОТА МИЯ

СЕРГЕЙ ЖАДАН

Сергей Жадан

Месопотамия

«ОМІКО»

2019

УДК 821.161.1(477)

Жадан С. В.

Месопотамия / С. В. Жадан — «ОМІКО», 2019

«Месопотамия» – это книга о Харькове и харьковчанах, самых обычных людях: наших соседях, жителях окружающих нас многоэтажек, случайных прохожих, которых мы ежедневно встречаем и которые превращаются в пассажиров переполненного транспорта, где мы толкаемся в едином порыве попасть на работу или на учебу... В общем, о нас с вами. И еще она о нашей повседневной, будничной жизни, которая затягивает так, что, кажется, не остается времени ни на что – ни на великие свершения, о которых мечталось в детстве, ни на осмысление происходящего, ни на то, чтобы остановиться полюбоваться пробегающей мимо нас красотой... Печально? Грустно? Оказывается, нет! Ведь это и есть то самое главное – жизнь! И Сергей Жадан, поднимая в книге важнейшие проблемы – признания и предательства, побега и возврата, нежности и жестокости, – доказывает, что можно получать радость от всего. От всего, что происходит с нами в этой жизни.

УДК 821.161.1(477)

© Жадан С. В., 2019

© ОМІКО, 2019

Содержание

Часть первая. Истории и биографии	6
Марат	7
Ромео	25
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Месопотамия

Сергей Жадан

© С. В. Жадан, 2014

© П. Т. Згонников, И. Л. Белов, перевод на русский язык, 2019

© Д. О. Чмуж, художественное оформление, иллюстрации, 2019

* * *

Никто не знает, откуда они появились и почему осели на этих реках. Но их тяга к рыболовству и знание лодки указывают на то, что они прибыли водой, поднявшись по руслу вверх. Язык их, судя по всему, хорошо подходил для пений и проклятий. Женщины их были нежными и непокорными. От таких женщин рождались храбрые дети и возникали серьезные проблемы.

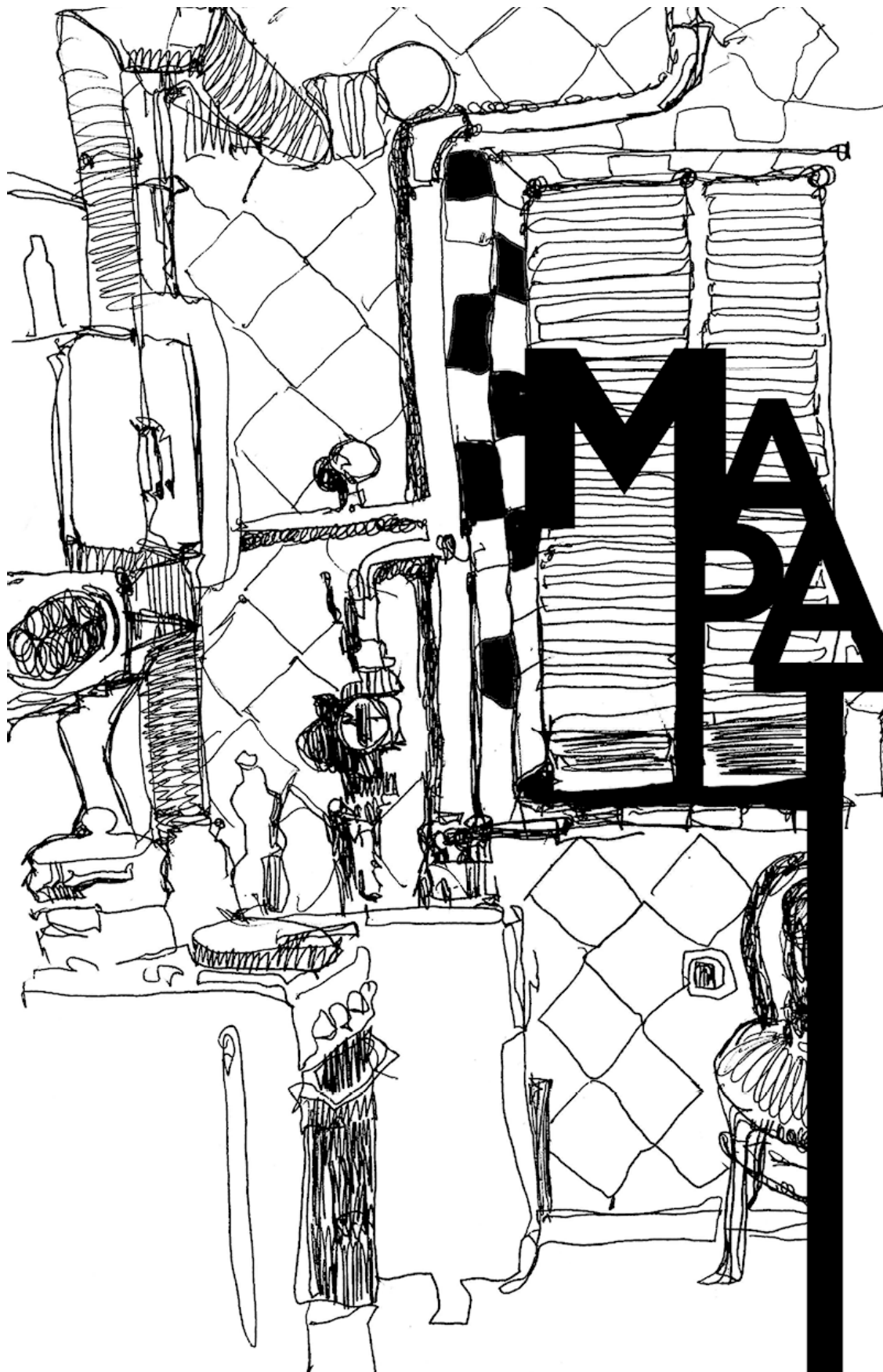
Настоящая история шумеров. Т. 1

Часть первая. Истории и биографии



© П. Т. Згонников, перевод на русский язык, 2018

Марат



За те сорок дней, как умер Марат, в город пришла весна. И почти успела пройти. Хоронили его в поминальный вторник, в начале апреля, а сейчас холмы заросли травой, зелёной и жгучей: наступало лето. За сорок дней мы успели всё забыть и успокоиться. Но вот родители Марата позвонили и напомнили. И я подумал: да, действительно, всего лишь сорок дней. У мёртвых нет к нам претензий, живые умеют нас напрячь.

Хоронили его несколько друзей и соседи. Большинство знакомых – а знакомых у Марата в городе были целые толпы – так и не поверило, что их действительно приглашают на его похороны. Потом, конечно, извинялись, приезжали на кладбище, искали надгробие. Апрель был дождливым, за автобусом с гробом бежали уличные собаки, как почётная стража, время от времени бросаясь на чёрные колёса похоронного фольксвагена, не желая отпускать Марата в царство мёртвых. По кладбищу расхаживали торжественные толпы, забирались на холмы, над которыми стелились низкие тучи, спускались в низину, залитую водой, праздновали, как в последний раз, мешая алкоголь с дождевой водой. Мы чуть ли не единственные приехали на кладбище с умершим и выглядели довольно странно – так, будто пришли в музыкальный магазин со своим пианино. Пасхальный день всё смешал, сделав нашу скорбь несколько неуместной. На Пасху никто не умирает. Нормальные люди в это время, наоборот, встают из могил.

Смерть Марата оказалась похожей на его жизнь – нелогичной и полной тайн. Была ночь с субботы на воскресенье. В церковь Марат не пошел, поскольку считал себя мусульманином, к тому же неверующим, зато среди ночи выбрался в киоск за сигаретами. В домашних тапочках и с купюрой, зажатой в кулак. Там его и подстрелили. Никто ничего не видел, все были по церквям. Ночная продавщица из киоска сказала, что ничего не слышала, хотя ей показалось, как будто кто-то пел и слышался рёв моторов, хотя она не уверена, но в случае чего могла бы узнать голоса; тем не менее сказать, были они мужские или женские, она не может, но всё же успела записать номера на жигулях, но потом выяснилось, что жигули стоят на обочине под студенческой поликлиникой уже второй год, и в них дворники складывают пустые бутылки и найденный на мусорных свалках картон. Ну вот, говорили мы друг другу, девяностые возвращаются, кто следующий?

Непонятно было также, за что его расстреляли. Бизнеса у Марата не было, с властью не пересекался, врагов не имел, правда, некоторых друзей он не узнавал в лицо, но разве это повод устраивать стрельбу? На улицах не стреляли уже лет десять, разве что в инкассаторов, но это по большому счету во внимание не берется: много среди ваших знакомых инкассаторов? Мы только гадали, что произошло на самом деле.

Прошло сорок дней, время бежало вперёд, реки успели выйти из берегов и вернуться назад. Начинались тёплые дни. Я не хотел идти, даже решил перезвонить, извиниться, отказаться. Потом подумал: какая разница? Всё равно буду целый вечер об этом думать, лучше уж в компании друзей, близких и родных. Терять голову лучше в проверенных местах. Вышел из дому, обошёл свою школу, остановился возле киосков, долго выбирал сигареты, так и не выбрал, подумал, может, всё же вернуться, и двинулся дальше. Сбежал крутым спуском вдоль корпусов института, притормозил на улице Марата. Стояла тишина. Под домом, в обеденной тени, млели сонные собачьи тела. Учувя моё появление, вожак поднял голову, скользнул по мне тёмным оценивающим взглядом, опустил голову на асфальт, утомлённо прикрыл глаза. Ничего не произошло. Ничего не изменилось.

Марат жил всего в нескольких кварталах от меня, ближе к реке. Три минуты пешком. Тут вообще всё было под боком: родильный дом, детский сад, музыкальная школа, военкомат, магазины, аптеки, больницы, кладбища. Можно было прожить жизнь, не выходя к ближайшей станции метро. Мы так и делали. Жили в старых кварталах, зависших над рекой, росли в перестроенных и переделанных квартирах, выбегали по утрам из сырых подъездов, возвра-

щались вечером под ненадёжные дырявые крыши, которые никак нельзя было до конца залатать. Сверху мы видели весь город во дворах, мы чувствовали, что под нами лежат камни, на которых все и строилось. Летом они нагревались – и нам становилось тепло, зимой они промерзали – и у нас начиналась простуда.

Двор их выходил на тубдиспансер, рядом тянулась дорога, бегущая к старым складским помещениям. С одного края, внизу, за крышами, – набережная и мост, чёрные заводские корпуса, новостройки, непролазный харьковский частный сектор, с другого, наверху, – центральные улицы, церкви и торговля. Я прошёл воротами, впитывая в себя всё, с чем жил столько лет: пыль, глина и песок, сквозь них не могла пробиться даже трава. Двор был вымощен битым кирпичом и камнем – Марат в последние годы грозился залить всё асфальтом, однако что-то ему мешало, поэтому всё осталось прежним: два старых, ещё дореволюционной застройки двухэтажных дома, полупустые и давно не отремонтированные, посреди двора – клумбы и палисадники, за ними яблони и чёрная кирпичная стена здания, выходящего на соседний двор. Семья вынесла столы, вытащила из квартиры стулья, соседи приходили со своими табуретками, на всякий случай, чтобы не остаться без места. Над столами светились яблони, белый цвет падал в салаты, добавляя им вкус и горечь.

Я поздоровался. В ответ мне закивали, одна из соседок достала из-под себя лишний табурет, я втиснулся между двумя тёплыми майскими женскими телами. Кто-то начал сразу же щедро накладывать что-то на тарелку, кто-то наливал, я огляделся, рассматривая и узнавая. Наши все были тут: против меня сидел Бенья, седой и коротко стриженный, ободряюще кивнул мне и вернулся к общему разговору. Говорили, насколько я смог понять, о погоде. Нейтральная тема, почему бы и нет. По крайней мере, рыдать никто не будет. Костик сидел с другого края, издали махнул мне рукой, не отрываясь от еды. Яблоневого лепестки падали на его белую сорочку, растворяясь в ней, как снег в зимней реке. К нему прижалась сухонькая соседка, жившая как раз над Маратом, Костик просто вытеснил её со стула своими крутыми боками. Сэм стоял поодаль, под деревьями. Вместе с Рустамом – братом Марата. Тот нервно ходил по битому кирпичу в резиновых тапочках и в новом тренировочном костюме и говорил с кем-то по телефону, иногда переспрашивая что-то у Сэма. Тот тоже пришёл в тренировочном костюме, под яблонями они были похожи на двух марафонцев, сбившихся с маршрута и теперь дозванивавшихся до организаторов соревнований, чтобы выяснить, куда им бежать дальше. Соседки поддерживали разговор, и всё выглядело так, будто вот-вот должны были включить музыку и начать дискотеку. Время от времени все звали Рустама к столу, но тот сурово отмахивался, отъебितесь, мол, православные, и продолжал дальше что-то говорить, страстно и недобро, а Сэм кивал, во всём, похоже, его поддерживая.

Я разглядывал наших. За сорок дней с ними мало чего произошло. Впрочем, с ними мало чего произошло и за последние десять лет. Разве что морщины еще острее прорезали Бенину физиономию, делая его чем-то похожим на Мика Джаггера. Чёрный свитер, дорогая обувь – Бенья из последних сил старался выглядеть пристойно, хотя я знал лучше других, что фирму у него отжали и живёт он с банковских вкладов, которые как-то сумел сохранить. Было ясно, что надолго их не хватит, от чего Бенья еще больше седел. Печальные времена для честного бизнеса, что тут скажешь. У Костика, наоборот, морщины разглаживались, хотя на характере его это мало сказывалось: характер у него был препаскудным, о каких переменах могла идти речь? Костик работал железнодорожником, то есть сидел в управлении Южной и за что-то отвечал. За что именно – подозреваю, он сам не знал. Набирал вес, терял чувство юмора. Держался только нас – друзей детства. Больше всех изменился, пожалуй, Сэм. Я имею в виду его новый тренировочный костюм. Ну и всё. Во всём остальном – та же боевая стойка старого опытного бомбилы, ключи от тачки, которые он никогда не выпускал из рук, глубокое недоверие к пассажирам, принципиальная ненависть к патрулям. Что касается меня, то я чувствовал, что где-

то внутри моего тела, между сердцем и селезёнкой, рождается и поднимается тёплым сгустком усталость, занимая всё больше места и заставляя грустно прислушиваться: что же там делается в моей душе, под моей одеждой, под моей кожей. И любая работа, любые карьерные успехи ничего не значили в сравнении с этим сгустком, он просто разъедал изнутри мои органы, будто запущенная кем-то под кожу пиранья. В своё время я решил не отходить далеко от насиженных мест и устроился на завод, совсем рядом, за два квартала отсюда. За 15 лет даже дослужился до собственного кабинета. Между тем завод уже лет десять как не работал, и делать карьеру на нём было то же самое, что делать карьеру на корабле, идущем ко дну: можно, конечно, но возможности заведомо ограничены. Мы сдавали под офисы бывшие лаборатории, сдавали под склады бывшие цеха, я нормально получал, ходил в костюме, который на мне не сидел. Как и у моих друзей, у меня появились проблемы со сном, и пробилась первая седина. На проблемы я не жаловался, начал коротко стричься. Вахтёршам на проходной это даже нравилось – они стали меня уважать. Или жалеть. Наша судьба, судьба друзей Марата, пришлась на тот возраст, когда жизнь замедляется, давая тебе больше обычного времени на страх и неуверенность. Марат дотянул до тридцати пяти, мы, напротив, имели все шансы прожить долго и умереть собственной смертью. Скажем, от малярии.

Дядя Алик и Рая Давидовна – родители Марата – сидели по разным сторонам стола, будто не знали друг друга. Дядя Алик молчал, а Рая Давидовна говорила в основном о салатах, и все думали, что лучше бы она вообще молчала. Я сидел и вставлял что-то от себя, вспоминал только хорошее, делал скорбное лицо, обращаясь к матери покойного, чувствовал, как от реки поднимается сырость, уловимая даже тут, в старых дворах, засаженных деревьями и застроенных воротами, башнями и коммуналками. Дядь Саша, родной брат отца Марата, вместе с Сэмом протянули от гаражей провода с двумя мощными лампами, разбросали их по яблоневым ветвям, и жёлтый свет, смешавшись с белым цветом, накрыл нас тенью. В сумерках все заторопились, начали собираться, договаривались о новых встречах, обещали поддерживать и не забывать, предлагали свою помощь, просили обращаться в случае чего, вздыхали, целовались со всеми и выходили через ворота, возвращаясь к жизни.

Первыми ушли соседки. Две полные, это между ними я втиснулся, и третья, сухонькая, зажатая Костей. Ушли, неся в руках табуретки, как полученные на Новый год подарки. После них ушёл слепой Зураб, сапожник, которого сюда никто не приглашал. Хотя ему уж точно спешить было некуда: жил он на работе, в заваленной подошвами и голенищами металлической будке на Революции, где совсем не было света, хотя он и не особо был ему нужен – всё равно ничего не видел, а с обувью вытворял страшные вещи. Но вот собрался и ушёл. Ушла Марина, неведомо чья дальняя родственница, с глубоким голосом и привядшей причёской. Она торговала овощами в киоске наверху, ближе к налоговой, с родственниками была в хороших отношениях и едва не единственная, кто плакал по Марату искренне и не сдерживаясь. С нею ушёл Марик, её сын, в белом комбинезоне, перемазанном жёлтой краской, ушёл, поскольку должен был ночью вернуться в мастерскую на Дарвина, где реставрировал мебель и до утра должен был перекрасить «под Польшу» фанерную этажерку, принесённую вчера двумя армянами. Ушёл Жора – аптекарь-практикант, гроза круглосуточных магазинов, который, заканчивая ночную смену, сразу отправлялся в рейды по пивным киоскам Пушкинской, выуживая продавцов из мути раннего сна и требуя от них внимания и понимания. Ушёл, пожелав всем доброй ночи, которая его, безо всякого сомнения, ожидала. За ним ушла Тамара, наша классная руководительница – обессиленная, но непобеждённая, прихватив с собой завернутый в бульварную газету кусок пирога. Она бы и не уходила, но все уже устали возражать ей, поэтому просто слушали её бред, соглашаясь и не перебивая. Утратив интерес к такому разговору, она всех сухо поблагодарила и растворилась в воротах, как привидение. За ней ушли Паша Чингачгук со своей Маргаритой. Марат называл их кумовьями, хотя детей у них, насколько знаю, не было. У

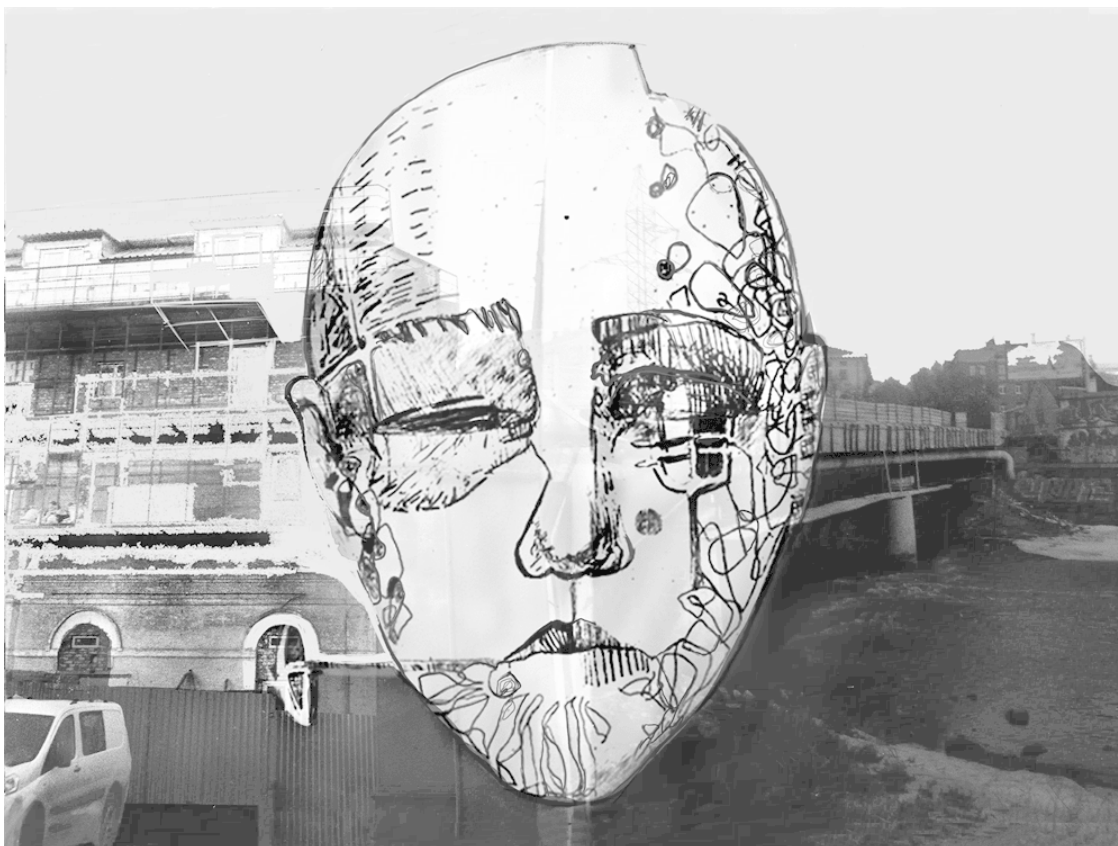
Марата их не было тем более. Паша прихрамывал, получил травму после занятий мотоспортом. В смысле разбился когда-то на украденном скутере. Иногда мне казалось, что Маргарита тоже прихрамывает, наверно, потому, что всегда держала Пашу под руку и старалась подстроиться под его разболтанную походку. Так они и ушли, как два весёлых матроса, списанных с сухогруза за неустойчивость. После них тяжело поднялись и ушли в темноту двое друзей, росших рядом с нами и бывших моложе нас, – Кошкин и Саша Цой. Кошкин плакал и наливал сам себе, поскольку на днях улетал в Филадельфию проведать родственников отца, которые, застряв там ещё в 90-е, не отзывались и не отвечали на письма, поэтому отец, регулярно посещавший синагогу, решил: так – нельзя, надо отправить по их следам единственного сына и выяснить, что они там, в Филадельфии, себе думают. Кошкин даже купил себе ковбойскую шляпу с гуцульским орнаментом, чтобы не сильно отличаться от местных. Как он себе их представлял. Для него это было вообще едва ли не первое расставание с родительским домом. Если не считать пионерских лагерей, но их можно было не считать – папа Кошкин сам работал в этих лагерях, отчего во время очередной смены Кошкин-младший чувствовал себя как рецидивист, вернувшийся на зону, где его ожидал давно знакомый дружный коллектив надзирателей. А Саша порывался уйти уже давно, его ждало заседание поэтического кружка в какой-то литературной кофейне, но признаваться он не хотел, только сидел и дёргался. Был Саша сыном корейского студента, которого занесло сюда в начале 80-х, с отцом не очень ладил, жил отдельно, писал духовные стихи. Характер у Саши сложный, он часто заводился с незнакомыми поэтами на студии, регулярно получал по полной, но не сдавался. За дружками Кошкиным и Цоем ушла Алка-Акула, мы её долго не отпускали, она и сама не хотела уходить, однако должна была: работа, график, пациенты. Она больше всех нам радовалась, вспоминала то, что могла вспомнить, фантазировала там, где никто уже ничего не помнил, делилась жизненными планами, уверяла, что завязала с прошлой беззаботной жизнью и работает сейчас в сфере медицины, что Марина помогла ей устроиться в тубдиспансер сестрой, где у неё сейчас новая интересная жизнь, единственное что – пациенты мрут, как мухи, а так всё в порядке. Электрический свет делал нежными и трепетными морщинки под её глазами, крашенные в жёлтый цвет волосы переливались искрами, а когда она наклонялась над столом, чтобы прошептать кому-нибудь из нас тёплые слова благодарности, её волосы опускались в стаканы с вином, становясь розовыми и мокрыми. Она долго не находила себе места, не давала никому слова и вела себя, как на собственном дне рождения, требуя добрых слов, радости и напитков. Наконец ушла и она. Чем ближе подходила к воротам, тем сильнее поглощала её тьма, тем мрачнее становился воздух над её головой, как будто там, где заканчивался свет, куда не добивали жёлтые лампы, ей приходилось дышать пеплом и глиной и разговаривать с мертвецами, затаившимися в этой глине. Я смотрел ей вслед и вспомнил внезапно, что первой женщиной Марата на самом деле была она, как-то так произошло. И Бениной, между прочим, тоже. Ну, и Костиковой, понятно. Да и Сэмовой, если уже быть откровенным. А если совсем откровенным – и моей тоже.

Едва ли не последними ушли ещё две подружки Рустама. Ушли, держась за руки, – старшая, Кира, обижалась на младшую, Олю, за то, что та снова много пила, а Оля нежно похлопывала Киру по спине, от чего по коже Киры пробегали мурашки, лопатки позванивали от холода и на глазах выступали слёзы. У нас у всех выступали слёзы, и смех ломался на зубах, мы вдруг поняли, что все разошлись, остались только мы и семья, как в старые добрые времена, когда мы собирались у Марата на чей-то день рождения или другой семейный праздник, и я подумал, что именно от этого у нас теперь удивительное чувство праздника, чувство предвкушения салюта, который вот-вот грянет за соседними крышами, сиреневыми и золотыми от вечернего майского солнца, светившего ещё наверху, хотя здесь, внизу, воздух уже совсем сгустился и освежел. Мы тоже начали собираться, но тут нас остановил дядь Саша. Он специально приехал на сорок дней откуда-то из пригорода, ночевать думал у родственников, спать ему не хотелось, отпустить нас – тем более. Так не годится, – сказал серьёзно, – так никто не делает. Мы

не можем, – сказал он, – так просто разойтись. Надо сидеть и вспоминать покойного, а то не будет ему покоя. Эти слова сразу отрезвили нас, и мы наперебой заговорили, мол, дядь Саш, ну что за вопрос, понятно, мы никуда не пойдём, куда нам идти, кто нас ждёт. Родители Марата тяжело вздохнули, но не возражали. Сказали только, что сами они пойдут, поскольку у дяди Алика с утра ныли почки, а Рая Давидовна должна посмотреть новости, так, будто она чего-то от них ожидала, поэтому они оставили нас, попросив Алину, жену Марата, принести нам чего-нибудь с кухни. Алина молча взялась за дело. Лишь теперь, когда все разошлись, когда стало тихо и пусто, мы вспомнили о ней, заметили её присутствие. Лишь теперь мы увидели её, хотя она всё время была рядом – что-то приносила из дому, что-то уносила обратно, выслушивала нытьё соседок, записывала рецепты запеченного карпа, вызывала такси для Саши с Маргаритой, целовалась со всеми на прощание. И вместе с тем оставалась сама по себе, словно стояла в стороне, по ту сторону разговора, с той стороны темноты. Я только сейчас заметил, что у неё новая причёска, она носила теперь короткие волосы, по привычке пыталась убрать их с глаз, одета была в короткую чёрную юбку, чёрные колготы и в домашние тапочки. Они все тут ходили, как пляжники на море, в домашнем. Платье придавало ей стройность, тапочки делали её шаги неслышными. Волосы у неё были тоже чёрные, кожа смуглой, и казалось, что она вот-вот растворится в ночи. Мне стало неудобно за нас: мы к ней хорошо относились, несмотря на все истории с Маратом, никто из нас никогда её не обижал, и она, надо сказать, тоже относилась к нам с терпением и выдержкой, каких мы не всегда заслуживали. В своё время Марат, знакомя нас с нею, предупредил её, что мы его друзья и что относиться к нам надо хорошо. Она запомнила. Она вообще помнила все, что говорил ей Марат. А вот мы, выходит, про неё забыли. Я заметил, что некоторые из наших тоже обратили внимание на Алину, возможно, даже чрезмерное: Бенья побежал с ней на кухню, неся в руках какие-то тарелки и теряя их по пути, Костик схватился убирать со стола грязную посуду, беспощадно сгребая её на землю, и даже Сэм потащил Рустама под свет, пока тот покрикивал в трубку что-то угрожающее, что-то про ипотеку. И когда все собрались, дядь Саша попробовал взять ситуацию под контроль.

Он сказал нам поразительную вещь. Сказал, что Марат сегодня последний вечер с нами, поэтому мы обязаны говорить о нём только хорошие вещи. Иначе он так просто не уйдёт. Мы не возражали. И даже кинулись наперебой вспоминать какие-то истории, но ничего толкового вспомнить не могли, только перебивали друг друга, перекрикивая и ругаясь. Тогда дядь Саша попросил нас всех замолчать. Повисла тишина, и я внезапно увидел, как из ворот во двор заползает холодный липкий туман. Он поднимался снизу, из чёрного русла, не успевшего ещё по-летнему пересохнуть. Мне сразу стало страшно, и страх этот передался другим. Все начали понимать, о чём нас тут предупреждает дядь Саша, горбятся над столом и подсвечивая себе мобильником, чтобы налить: он предупреждает, что Марат где-то рядом, он стоит у нас за спинами и не уйдёт отсюда, пока не услышит нужные ему слова. Не очень приятное чувство – прислушиваться, не дышит ли тебе из-за спины умерший приятель, который чего-то не досказал при жизни и про которого ты знаешь столько историй, что ему проще тебя придушить, чем гадать, будешь ли ты держать их при себе. И тут кто-то осторожно и коротко коснулся моего плеча. Я вздрогнул и резко обернулся назад – за спиной стояла Алина, улыбаясь и протягивая мне салфетки. Я тоже заулыбался, схватил эти чёртовы салфетки, они тут же посыпались у меня из рук, я выругался и наклонился, чтобы собрать их, поднимаясь, ударился головой о стол, выводя всех из транса. И все снова наперебой заговорили, а громче всех – Бенья, и все поэтому стали слушать его. Алина так и замерла за моей спиной, стояла и слушала. Бенью это заметно напрягало, видно было, как старательно и осторожно он подбирает слова, чтобы не обидеть вдову. Говорил, заглядывая нам в глаза, будто прося о помощи, будто поясняя: ну, вы же всё понимаете, поддержите меня, подтвердите мои слова, напомните, как всё было на самом деле. Мы напоминали и подтверждали. Алина постояла какое-то время, наклонилась над столом, собрала пустые бокалы со следами помады и хотела было идти, но что-то её задер-

жало, что-то заставило дальше слушать этот рассказ, всё время обрывавшийся и каждый раз начинавшийся с нового места. Туман подступал всё ближе, тихо и неумолимо приближаясь к её тёплому смуглому телу.



– Скажу так, – как-то издали начал Бенья. Он стоял под лампой и держал в руках стакан, будто произнося тост. Причём произносил его, обращаясь, прежде всего, к дядь Саше, который в сумерках стал совсем тёмным, остроносым и непроглядным. – Что мне больше всего нравилось в Марате, – уточнил Бенья, – так это его человеческие качества.

Он обвёл нас глазами, ожидая поддержки, но мы не совсем понимали, к чему он ведёт, и тогда Бенья снова обратился к дядь Саше.

– Я хочу сказать, – объяснил он, – что Марат всегда был таким, каким должен быть настоящий человек – взрослым и ответственным.

Все согласились, и Бенья продолжил:

– Мы же вместе ходили в школу, правда? Мы одного возраста. Когда Марат записывался на бокс, я ходил записываться с ним.

– Я тоже, – вставил Костик.

– И я, – в один голос сказали мы с Сэмом.

– Да, – продолжал Бенья, – но нас не взяли. Я знаю, – снова обратился он к дядь Саше. – У вас там, на Кавказе, каждый второй боксёр. Или самбист.

– Или альпинист, – нехотая вставил Костик.

– Но Марат был настоящим бойцом, – не дал перебить себя Бенья. – Он даже режим не нарушал. Даже когда начал встречаться с Алиной, – обратился Бенья уже к Алине, – не пропускал тренировок.

– Да-да! – подхватили мы в один голос.

Алина напряглась, пустые бокалы звякнули в её руках. Все затихли.

– И тут, – сказал Бенья, переведя дыхание, – я могу рассказать такую историю. Возможно, вы её не знаете.

И начал рассказывать. С его слов выходило, что первые перчатки Марату подарил отец. Ещё когда Марат не стоял как следует на ногах. То есть сначала Марат научился уважать родителей, потом боксировать и только потом – ходить. Боксировал он вдохновенно и настойчиво, везде и всегда. Удары его, по словам Бени, несли противнику поражение и бесславие, а его спортивному обществу – славу и победу. Тренеры сразу это заметили, Марата взяли с ходу, не спросив, сколько ему лет, где он учится и какого вероисповедания. А напрасно, подчеркнул Бенья. Ведь вера для Марта была делом чести. Он всегда носил с собой священные мощи, привезённые ему Беней с Синая, а что никто из нас их в глаза не видел, то лишь по той причине, что мощи выносить на ринг сурово запрещено олимпийским комитетом. Кроме того, Марат совершал все намазы, почитал вечер пятницы, не ел мяса и отдавал на церковь десятину. На какую такую церковь, Бенья уточнять не стал, ограничившись сухими цифрами. Тренеры, без сомнения, знали, кого именно воспитывают у себя на базе, с кем им посчастливилось встретиться в их никчёмной жизни. Поэтому они и ухватились за Марата – как за последний шанс. Это понятно: кому ж не хочется воспитать олимпийского чемпиона? Всем хочется. Его и воспитывали на чемпиона – так и не иначе! Он это чувствовал, и когда его в очередной раз хотели отправить на историческую родину, на Кавказ, уточнил Бенья, он, как всегда, заявил, что тут его воспитали, тут он и реализуется как профессионал. Амбиции всегда наполняют нас силой и выдержкой. Тщательный ежедневный труд, изнурительные тренировки, упорное движение к поставленной цели – всё это не могло не дать результатов. Из простого чеченского паренька Марат превратился в спортивную надежду Харьковщины. Не было такого соперника, несколько патетично заявил Бенья, разумеется, в его категории, поправился он, который выстоял бы против нашего Марата хотя бы пять раундов! Я хочу вспомнить, – начал вспоминать Бенья, – как он готовился к бою. Воздержание и пост, молитва и медитации, покорность и уверенность! – Бенья окончательно сбился с темы. – Кожа его со временем стала крепкой, как броня, а кости – твёрдыми и холодными. И когда он бился за звание чемпиона, отцы города замирали на трибунах, видя его грациозные движения и слыша победные крики!

– Так всё и было, – согласился дядя Саша, и синяя слеза скатилась ему в коньяк.

– Ни одного боя! – восклицал Бенья – Ни одного боя без победы! Ни одних сборов без победы и успеха! Кровь врагов запекалась на его кулаках. Их стенания сопровождали каждый его удар! К его стопам пытались припасть прекраснейшие женщины! – Тут Бенья вспомнил про Алину и запнулся. – Ну, имеется в виду, от федерации, – пояснил он, – профсоюзная работа, трудовые резервы.

Всем как-то сразу стало беспокойно, и Бенья не нашел ничего лучшего, как продолжать дальше:

– А вот история, о которой я вам хочу сейчас рассказать, случилась на сборах в Ялте. Я потому так детально рассказываю, – объяснил Бенья, – что сам там был. Никто не мог сравниться с Маратом в ловкости и выносливости. Никто не мог выстоять против него, не утратив здоровья. Никто не сомневался в его великом будущем. Кроме Чёрного. Как его звали, я теперь не вспомню. Хотя, – задумчиво вспомнил Бенья, – чего ж не вспомню, Чёрным его все и звали. Был он не местный, родители его приехали с Востока или с Запада – не помню. Чёрного как бойца никто сегодня и не вспомнит. Его и тогда мало кто знал, все говорили только о Марате. И вот Чёрный на сборах сорвался. Жили они на базе, в город их не выпускали, режим, распорядок, утренняя гимнастика. И вот тренерский штаб вызвали на какое-то совещание. Причём весь. Тут-то Чёрного и понесло. Сначала он пил сам. Потом споил массажистов. Потом взялся за юниоров. Единственный, кто с ним не пил, – Марат! Два дня искушал его Чёрный, два дня совращал. Чего только ни делал. И массажистов подсылал к нему, и юниоров подговаривал. Но так и остался ни с чем! И поэтому я предлагаю выпить, – попробовал закрутиться Бенья, – за

нашего приятеля, за Марата, за его человеческие качества. – Я заметил, что Алина не дослушала, направилась к дому, и туман охлаждал её икры, пока она шла по двору. – За его преданность спорту и настоящую человеческую дружбу.

Никто не был против выпить, никто не был против настоящей мужской дружбы. Дядя Саша, худой, с бритой головой, с аккуратной полосочкой усов, в своём чёрном пиджаке похож был на трубочиста, упавшего с крыши прямо за праздничный стол и радовавшегося этому, ведь всё могло сложиться куда хуже. Чем темнее становилось небо, тем отчаяннее горели лампы над нами. Темнота стояла вокруг ламп, будто вода вокруг неподвижных сомов, не осмеливаясь всколыхнуть их сонный покой.

Мы все знали эту историю. Пока рядом была Алина, никто не перебивал и не возражал, а тут, только она отошла, я вспомнил, как всё было на самом деле. Да и другие вспомнили, заметным было общее смятение. Даже Рустам отвёл глаза, достал мобильник и со злостью начал набивать кому-то сообщение. Чёрного звали Валера. Их с Маратом выгоняли из секции одновременно. Трижды. Но каждый раз брали назад. Не то чтобы Марат на самом деле был таким непобедимым – он даже по области никогда не брал первого места, просто у Чёрного отец был в органах и всегда за пацанов договаривался. В Крым они тоже свалили вдвоём. Просто так, со сборов, которые проводились здесь, на месте. Марат уже встречался с Алиной, они даже рассказывали всем о свадьбе, но тут его перемкнуло, был март, на площадях и скверах лежал чёрный снег, небо вспыхивало и загоралось, Марата рвало с места, тогда он и придумал эту историю со сборами в Ялте. С собою они взяли двух подружек-гимнасток. Те, кажется, еще и до паспортов не доросли. Марат с Чёрным казались им взрослыми и ответственными – одним словом, настоящие мужчины с мужскими качествами. Поселились они у знакомых Чёрного, в тесной квартире в панельке, из окон которой не было видно даже моря. Да и не было у них особого интереса к морю, штормившему и заливавшему набережную битым льдом и мёрзлыми водорослями. Где-то на пятый день отдыха, когда деньги, шампанское и хлеб заканчивались, Чёрный со своей гимнасткой начали тащить Марата домой. Но с тем что-то случилось, какая-то перемена, он нам рассказывал потом. Говорил, что сам не понимает, как так произошло и когда это началось, но его напарница, ещё совсем юная, тихая и прозрачная, не имевшая ничего, кроме спортивных перспектив, потеряла от него голову, и он тоже потерял свою, причём задолго до этого, поэтому никто из них ни о чём не думал. Они заперлись в своей комнате и днями не вылезали из постели, целуясь и доводя друг друга до изнеможения. Марат рассказывал, что она совсем ничего не умела, и он объяснял ей всё с самого начала, показывал, что и как нужно делать, чтобы всё продолжалось и дальше. Помещение совсем не обогревалось, они спасались под толстыми одеялами, поэтому он почти не видел её обнажённой, обучая скорее на ощупь. Потом долго вспоминал, какие у неё нежные ладони, какие прозрачные вены, какая бархатистая кожа. Она легко всё усваивала, забыв, как ей было больно и стыдно в первый день, плакала ночью, смеялась утром и хватала его за шею, когда он пытался выбраться из-под одеял и сходить на кухню за новой бутылкой шампанского. Он лез под одеяла, и всё начиналось сначала. От алкоголя она становилась неутомимой и неосторожной, кусала его, потом долголизывала раны, нежно шептала ему что-то, пока он ломал голову, как бы выбраться и отлить, потом засыпала и говорила во сне с мамой, после чего он будил её, приводил в сознание, и так – все дни.

Первым запаниковал Чёрный. Он понимал, что девчонки без паспортов. Бог с ними – с паспортами, но он понимал, что они тоже наврали дома, что едут на сборы. Выходило так, что нужно было как-то выбираться, сборы сборами, но если история всплывёт, не поможет и папа-правоохранитель. Подружка Чёрного тоже паниковала, плакала и просила взять ей билет в Харьков. Чёрный пробовал поговорить с Маратом. Они сидели на кухне, добивали последние сигареты, из ран Марата выступала кровь, смешанная со сладкой слюной. Марат говорил, что

никуда не поедет, что не хочет ничего слушать, что боится возвращаться домой, что она всем расскажет, что ему нечего сказать Алине, которая ни о чем не догадывается, а догадается – просто умрёт с горя, поэтому лучшее – оставаться здесь. Насколько хватит сил и сигарет. Чёрный терпеливо переубеждал его, говорил, что это не выход, что рано или поздно их начнут искать и рано или поздно найдут, и тогда от горя помрут они – Чёрный с Маратом, а может, даже и не от горя, а от побития камнями и общественной обструкции. Нет-нет, – не соглашался Марат, – ты не понимаешь: когда что-то не складывается, когда тебя загоняют в глухой угол, лучше просто не двигаться, лучше стоять и ждать, пока все пройдёт. И он возвращался в постель, и согревал её холодные лопатки, грел ей ладони и живот, стараясь ни о чем не думать, не думать вообще. Чёрный уговаривал его несколько дней. Ходил на почтаamt, звонил Алине, передавал приветы от Марата, говорил, что тот в зале, тренируется. Алина всё понимала, но вида не показывала, только просила передать, чтобы Марат не нарушал чрезмерно спортивный режим. В одно утро подружка Чёрного собрала вещи, незаметно выскользнула из квартиры, добралась до трассы, поймала машину, доехала до Симферополя и на следующее утро была дома. Появление милиции стало вопросом времени. Чёрный выбил дверь, вытянул из постели подружку Марата, молча помог ей одеться, путаясь в колготках и носках, и потащил на вокзал. Марат остался. Через пару дней пришли хозяева квартиры, так или иначе пришлось возвращаться домой. Алина его бросила. Потом вернулась. Подружка-гимнастка травилась какими-то таблетками. Но как-то неудачно. В смысле, выжила.

Пока мы всё это вспоминали, над двором повис тонкий, медного цвета месяц. Туман скрывал его, но он все равно пробивался сквозь влажный воздух, тихо шествуя над железными крышами и чёрными трубами. Из дома вышла Алина, полностью растворившись в сумерках, – темнота плотно облегла её чёрное платье, лишь локти и запястья время от времени мелькали в воздухе, будто выныривая из чёрного молока. Все сразу посерьёзтели, Бенья опять взялся ей помогать, забрал из её рук хлеб и вино, дядь Саша принялся приглашать к столу, Алина наконец согласилась. Становилось зябко, было чувство, что где-то рядом прошел дождь, оставив по себе ровное дыхание холода. Алина больше молчала, лишь иногда переспрашивала кого-нибудь из гостей, что кому подать, потом откидывалась на твёрдую спинку стула и задумчиво разглядывала синее вино в зелёных бокалах.

Тогда заговорил Костик. Тяжёлый и неповоротливый, размокший от тумана и вина, он развязал галстук, бросил его на какую-то запеченную рыбу и говорил, уже не слишком чётко, зато убедительно и громко. Когда человек так говорит, ему нечего возразить, если даже он говорит глупости. Костик это понимал и поэтому старался говорить ещё громче. Иногда казалось, что он кого-то обвиняет, иногда – что защищает, иногда он просто срывался на крики, и тогда Сэм клал ему на плечо свою сухую руку, а дядь Саша предостерегающе кивал Сэму, мол, не трогай, пусть говорит, всё равно утром не вспомнит ничего.

– Да-да, – волновался Костик, – я тоже хочу сказать. Что вы мне не даёте сказать?! Не смотрите так на меня, – заводился он, опрокидывая стаканы с вином. Белое полотно набухало тёмной влагой алкоголя, но Костик не замечал и просил его не перебивать. – Я хочу сказать про доброе сердце. Когда у человека доброе сердце, многие вещи он воспринимает совсем иначе, чем мы с вами. Глаза такого человека светятся внутренним светом, и люди тянутся к нему. И мужчины, и женщины, – уточнил Костик.

– Ну, началось, – недовольно отреагировал Бенья. – Говорил: не наливайте ему. Сейчас он наговорит.

Все понимали, о чём он. Все знали, чего ожидать. Вначале он затянёт о внутреннем свете, потом будет витийствовать о спасении души, возможно, будет плакать, скорее всего, полезет в драку. С Костиком это началось после реабилитации. Наркотики никого не делают спокойнее. Чаще наоборот. Костик подсел уже в зрелом возрасте, имея что терять. А когда потерял,

сумел остановиться. Долго таскался по реабилитационным центрам, школам душевного просветления и курсам духовного развития. После этого вернулся к жизни, начал набирать вес. Очевидно, проблемы с сахаром, думал я. И с почками. И с головой. С другой стороны, при чем тут наркотики – в детстве он вел себя за столом так же ужасно.

Нам не очень нравилось то, что он говорил, однако всех подкупала его эмоциональность. Ну да, внутренне соглашались мы с ним, всё правильно: открытое сердце, тянутся мужчины. И женщины. Алина, похоже, совсем замёрзла, нашла на стульях забытый кем-то платок, укуталась в него, время от времени вздрагивая, как будто реагировала на чей-то шепот, слышимый только ею.

– Доброе сердце помогает нам в трудные минуты и радуется в часы радости, – вещал Костик, глубоко вдыхая ночной воздух, от чего белая сорочка его развеивалась, как парус в чёрном море. – Доброе сердце, друзья, – начал он плакать, – доброе сердце!

А дальше говорил что-то совсем отвлечённое, что, впрочем, вылилось в довольно-таки приятную и всем понятную историю. Говорил про сердца, наполненные добром и надеждой. Сердца милосердные и щедрые, через них, говорил, в мир приходит совесть, и они никогда не поддаются искушениям тщеславия. После долгого и довольно путанного вступления напомнил всем, каким тёплым и погодным был сентябрь несколько лет назад, когда произошел тот удивительный случай.

– Вот вы говорите, – всхлипывал Костик, – о мужских качествах. А разве не высочайшей добродетелью настоящего мужчины являются сопереживание и готовность оказать первую медицинскую помощь? Возьмём Марата. В то время он – известный атлет, авторитетный среди молодёжи боксёр, чуткий сын, верный муж, человек железной воли и стойких убеждений, аскет, неудержимый и выносливый, – пребывал в том возрасте, когда ничто не кажется невозможным, когда происходят чудеса, и небеса раскрываются над нами, чтобы святые могли лучше видеть цвет наших счастливых глаз. Он и на Кавказ из-за этого не поехал, хотя его звали туда в сборную. Ну сами подумайте, как можно оставить все свои обязанности? Чувство долга – вот что держало его здесь!

Однажды, возвращаясь со спаррингов, он наткнулся посреди осеннего парка на неизвестного, лежавшего просто на земле, головой на восток. Рядом суетилась случайная прохожая, она и сделала потом эту историю достоянием широкой общественности. Что делает большинство из нас, столкнувшись с чужой смертью? Обычно мы стараемся не реагировать, чтобы не привлечь её внимания. Мы просто делаем вид, что смерти не существует, не замечая мёртвых и не думая о живых. Не таков Марат. Он остановился, какой-то внутренний голос, как потом рассказывала с его слов прохожая, заставил его склониться над мёртвым телом. Что-то подсказало ему, что утрачено ещё далеко не всё, что можно попробовать отогнать чёрную тень, выходящую уже из-за багряных деревьев. Неизвестный был интеллигентного вида, в несколько старомодном пальто, рядом лежал портфель. Марат быстро сориентировался в ситуации, заставил прохожую вызвать милицию и скорую и, пока та набирала холодными пальцами нужный номер, сделал неизвестному массаж сердца, вернув несчастного фактически с того света. После дождался медиков и милиции и даже проехал до отделения, чтобы всё рассказать. Вместе со случайной прохожей.

Тут Алина совсем расплакалась, рванулась к дому, но дядь Саша успел перехватить её и крепко обнял за плечи. Она прильнула к нему, задыхаясь от плача, а мы сидели и молчали, чувствуя, как бесповоротно проходит тот момент, когда нужно что-то сказать, подхватить разговор, не дать воцариться тишине, становящейся невыносимой и угрожающей разорвать воздух, как бумажный пакет. Всё вроде так и было: и спарринги, и осенний парк. Чёрные деревья, сиреневые небеса с красными отблесками на западе. Марат тогда всё собирался уйти из клуба, ругался с руководством, неделями где-то пропадал, с Алиной у них всё было так паршиво, что он сам удивлялся, как они до сих пор не разошлись. В тот день мы с обеда засели в парке,

в разбитом баре, фактически в какой-то палатке с пивом, где, кроме нас, никого и не было, сидели, никуда не спеша, – я, Марат, еще кто-то из его одноклубников, – ждали ночи и слушали байки Марата о том, как он весной всё бросит и свалит на Кавказ, куда его давно зовут тренером. Где-то под вечер к бару подошла парочка – он выглядел значительно старше её, походил на преподавателя университета, ни на кого не обращал внимания, смотрел только перед собой. Был в осеннем пальто, носил очки, почти не пил. Она – юная, хотя на студентку не похожа, держалась уверенно, сама заказывала, предлагала что-то ему. Марат умолк, начал к ней присматриваться, что-то его в ней зацепило, что-то в нём отозвалось. У неё были жёсткие светлые волосы и длинные пальцы с острыми ногтями, и еще яркие белые зубы, всё время смеялась и болтала, и Марат только и любовался её улыбкой, даже не особенно скрывая это. А через час, когда преподаватель бросил таки на нас недвусмысленный взгляд, Марат вообще устроил скандал и полез в драку. Бармены всех растащили и посоветовали расходиться, преподаватель старался вести себя спокойно, однако чересчур поспешно подал своей подружке плащ, чересчур много оставил чаевых, чересчур демонстративно протянул ей руку, чтобы вывести на улицу. И именно тогда Марат вырвался из наших рук и перехватил её, поймал за локоть, потянул к себе – резко и не сдерживаясь, так, что она вскрикнула. И не понятно, чего больше было в её крике – возмущения или удивления. Мне показалось, что удивления. Причём приятного. Хотя она и попробовала вырваться и гневно что-то кричала, блестя зубами и крутя головой, однако подалась вперёд, налетела на Марата и вынужденно, изблизи, увидела его острое небритое лицо со шрамами и порезами, серые воспалённые глаза, чёрные волосы и упругую кожу. И чем дольше смотрела, тем туманнее становился её взгляд. А когда преподаватель бросился вырывать её, Марат вовсе не сдержался и ввалил ему правой, как его учили ещё в детско-юношеской школе, то есть старательно и от души. Преподаватель покатился по полу, а на Марата сзади налетели бармены, и уже все трое полетели на землю. Мы с приятелем Марата взялись вышвыривать всех на улицу, в сине-красную парковую тьму, тревожно поглощавшую огни барной вывески. И там, на ковре из золотых листьев, Марат толк преподавателя, бармены пробовали оттянуть его от жертвы, а мы, в свою очередь, пытались оттянуть их.

Милиция забрала всех, кроме барменов. Преподаватель ныл и просил сделать ему массаж сердца. Его подружка прикладывала Марату платок к разбитой брови. В отделении преподаватель и подружка сидели в одном углу, мы – в другом. Никто ничего не говорил, только она смотрела на Марата задумчиво и нервно, словно изучая. Или, как минимум, запоминая. Потом их отпустили, а мы остались. Марат просил меня воспользоваться правом одного звонка, позвонить Алине и объяснить, что его вызвали на встречу с президентом федерации.

– Каким президентом? – говорил я ему. – Два часа ночи. Давай я позвоню, скажу, что мы в милиции, пусть что-нибудь делает!

– В милиции? – сомневался Марат. – Чересчур правдоподобно, она не поверит.

И зачем рассказывать то, что всем и так известно, думал я. Зачем задабривать умерших историями, в которых так много крови и боли. Но всем, похоже, нравилось вспоминать Марата именно таким – в красных боксерских трусах, с архангельскими крыльями за плечами, с Господним благословением в добром сердце. Я решил было уйти, повернулся к дядь Саше, чтобы всё объяснить, извиниться и раствориться в тумане, как вдруг Алина наклонилась ко мне и устало коснулась руки.

– Вань, – сказала, – поможешь?

– Да-да, – ответил я, – что за вопрос.

Нужно было просто не приходиться, – подумал я.

Алина начала выбирать из травы пустые бутылки, передавала мне, потом взяла со стола тарелки и вилки, пошла в дом. Я пошёл за нею, чувствуя голоса и взгляды за спиной, шёл, ступая по битому кирпичу и смотря, как легко она идёт, как погружается в ночь, как на её

кожу и чёрные волосы неожиданно падает оконный свет. Открыла дверь, прошла внутрь. Я ступил следом. Тут она обернулась, тихо попросила оставить бутылки в коридоре, передала мне вилки. Я не удержал, вилки посыпались на пол, остро и холодно, как обломки льда. В доме, где-то в глубине, скрипнули двери. Алина приложила палец к губам, попросила быть тише, сказала, что все уже спят. Говорила шёпотом, от чего голос её звучал особенно доверчиво. Приоткрыла дверь в гостиную, осторожно шагнула вперёд. Свет был выключен, я её не так видел, как чувствовал, ловил её дыхание, слегка острый запах её волос, пахнувших грецким орехом, улавливал едва слышное поскрипывание старого пола под её ногами. Что случится, думал, если здесь, в темноте, я, не заметив, случайно наткнусь на неё, если коснусь её, если раню острыми ножами и вилками, которые держу в своих руках? Она прошла через гостиную, свернула в длинный коридор, шла на ощупь, касаясь пальцами предметов. Я хорошо знал их дом ещё с детства. Необычно спланированный и несколько раз перестроенный, забитый старой мебелью и высокими шкафами, он напоминал мне о Марате, о более приятных обстоятельствах, о более весёлых временах. Мне всегда нравилось, как тут пахло: удобной тёплой одеждой, деревом и чаем. Ни одной книги на полках, ни одной картины на стенах. Тесные комнаты, узкие коридоры, неподвижные тени, невидимые обитатели. Мы двигались во тьме, осторожно обходя стулья и сумки, тяжелые вазоны с цветами и разбросанную на полу обувь. До меня внезапно дошло, что я не помню этого коридора, раньше его здесь не было, я это точно знал, я сотни раз бывал здесь, в разном возрасте, в разном состоянии, но вот именно этого коридора, который чем дальше, тем больше сужался, коридора, переполненного пылью и мраком, не помнил. Может, – подумал я, – они тут в какой уже раз что-то переделали, ну да, конечно, Марат собирался пробить стену, чтобы объединить отцовскую спальню с маленькой комнатой, в которой никто не жил, но не помню, чтобы он перед смертью что-нибудь говорил о ремонте. С другой стороны, мы с ним в последнее время и не общались. Не хватало времени, не хватало желания, не хватало терпения выносить весь тот чад, в котором он жил. Может, он и вправду успел выстроить в отцовском помещении этот коридор и ушел по нему с этого света, прорубил себе собственный канал связи с тьмой, нашёл то место, где обшивка света была тонкой и ненадёжной, и, воспользовавшись удобным случаем, обратил всё в свою пользу. Я остановился и прислушался. В полной темноте, обступавшей и давившей, не было слышно ничего, даже дыхание Алины прервалось, словно она задержала его и растворилась в чёрном чае ночного помещения, играя со мной в прятки. Мне вспомнилось, как Марат любил рассказывать про своего старика, про то, как тот учил его плавать. Брал за шею и опускал под воду, вынуждая выбираться, задыхаясь и отплёвываясь. Марат говорил об этом с гордостью: вот, мол, видите – не задохнулся, не сдох, вынырнул, выжил и дальше буду жить, и ни одна смерть меня теперь не возьмёт. Но говорил об этом так зло, что у меня самого каждый раз перехватывало дыхание, не хватало кислорода, и я жадно хватал его ртом, чтобы убедиться, что не задохнулся. И вот нужно же было попасть в эту ловушку, чтобы воскресить страшные истории детства. Меня охватил страх. Как отсюда выбраться, – подумал, – куда ведёт этот чёртов коридор? Бросился искать стену, наткнулся рукой на что-то твёрдое, на какие-то металлические выступы и штыри, взялся бить по чёрной пустоте, второй рукой пытаюсь удерживать вилки и ножи. Нашупал изодранные обои, из-под которых выступал холодный кирпич, нашупал вешалку для одежды, нашупал шторы и шляпы, платки и целлофан. Внезапно пальцы остановились на чём-то упругом и тёплом. Я попробовал понять, что это. Перья, это были перья, нежные и невесомые на ощупь. Что-то, похожее на только что забитую птицу, что-то, наполненное кровью и памятью. Я ощупывал осторожно и внимательно, пробуя разгадать, что же это всё-таки такое. И тут темнота под моими пальцами вздрогнула, чуть слышно отозвалась, словно кто-то вздохнул. Я услышал, как что-то шевельнулось. Ужас охватил меня. Ужас и отчаяние. Я ринулся в темноту, выставив перед собой растопыренную ладонь. Свалил вешалку, зацепил стул, перевернул какие-то кастрюли. Рука ударилась о твёрдую поверхность, темнота расступилась, в глаза уда-

рил резкий свет. Я вывалился на старую кухню, где бывал тысячу раз, где знал все потаённые уголки, где всё было знакомым и не вызывало страхов или недоверия. Посреди кухни стояла Алина, помешивая что-то ложкой в огромной кастрюле. Она удивлённо посмотрела на меня. Похоже, вид у меня был беспокойный.

– Ты где был? – спросила.

– Заблудился, – ответил я.

– Всё в порядке? – засомневалась она.

– Да, – солгал я.

Скорее всего, она не поверила.

– Вот, – сказала, помолчав, – отнеси на стол.

Я взял из её рук глубокую тарелку с овощами, потащился назад.

Они как раз успокаивали Костика и вспоминали, на чём остановились, где был прерван разговор, с какого момента всё пошло не так. Костик горько плакал, положив голову на руки, а руки, в свою очередь, положив на запеченную рыбу. Можно было подумать, что он её оплакивает, эту рыбу. Дядь Саша пересел к нему и успокаивающе похлопывал по спине. Тихо, парень, – говорил он, – не надо так убиваться по мёртвым. Костик обиженно шмыгал носом, вытирая сопли и слёзы рукавами рубашки. Дядь Саша нависал над ним своим острым профилем, как ворон, Бенья нервно курил, стряхивая пепел в маринованные грибы, а Рустам с Сэмом сидели поодаль, продолжая о чём-то спорить. Я подсел к ним, поставил овощи на стол.

Тогда Сэм рассказал интереснейшую историю. Была она настолько удивительной и запутанной, что даже Рустам, младший брат, на глазах которого всё это происходило, всплёскивал время от времени руками, широко раскрывал глаза и отрицательно мотал головой, не соглашаясь и поправляя рассказчика. Было что поправлять! Никто из нас не знает, – говорил Сэм, затягиваясь так, что рубцы на перебитом не раз носу розово вспыхивали в керосиновом сиянии, – как близко находится его смерть. Никто из нас представить не может, как далеко на её территорию мы заходим. Говорил он, может, не так рассудительно, как я пересказываю, нервно затягивался, немного запинаясь, но рассказ его был именно об этом. Смерть, – говорил он, – никогда не идёт нам навстречу, у неё есть время и возможность выждать, она стоит в свежей изумрудной траве, невидимая и неотвратимая, и следит, как легкомысленно и неосмотрительно мы забегаем в её тень. Иногда нам удаётся из этой тени выскочить. Хотя в большинстве случаев от нас тут мало что зависит. Мы беззащитны перед ней, нас парализуют страх и обречённость. И мало кто с этой обречённостью способен справиться. С Маратом всё сложилось особенно удивительно. Он не боялся смерти и любил женщин. Один раз его приглашали за границу, тренером, ну, всем это известно. И знаете, что он сказал? Он сказал: я умру здесь, рядом со своей мамой. Всем известны были те учтивость и благородство, с какими он относился к женщинам. Возможно, это передалось ему от мамы. Возможно, причина тут в спортивном воспитании. Так или иначе, а к женщинам он относился почти как к божествам. Один раз, прошлой весной, да фактически год назад, Марата втянули в драку. Случилось это так: он уже возвращался домой после боя и спускался по Революции, когда вдруг увидел, как какой-то мудак цепляется к девушке. Причём довольно брутально. Посреди улицы. Ясное дело, Марат полез драться. Казалось бы, что стоит профессиональному боксёру завалить какого-то профана. Однако мудак оказался не так тренированным, как выносливым. С прямо-таки железной головой, о которую можно было гнуть велосипедные рамы. Бились они часа два. То сходились, то переводили дух. Потом снова бросались друг на друга. Даже девушка не выдержала, извинилась и пошла себе. Да её никто и не держал. Ну, верх взяло всё же мастерство – Марат таки завалил этого кабана. Тот лежал на тёплом вечернем асфальте и истекал кровью. Марату бы развернуться и идти домой, но что-то его остановило, что-то заставило остаться. Он наклонился, потянул мужика на себя, закинул себе на плечи и понёс к горевшим возле метро фона-

рям, думая там свалить перед дверью какой-нибудь аптеки. Мужик оказался грузным, ноги его волочились по земле, джинсы сползали, он тяжело хрипел, кровь его затекала Марату за воротник. Несмотря на это Марат упорно шёл вперёд, поскольку знал: нельзя оставлять после себя трупы, борьба должна быть честной. А уже когда дотащил-таки этого мудака до аптеки, аккуратно уложил его под дверью и уже собрался нажать кнопку вызова дежурного, то напоследок решил вытереть ему кровь с лица. И когда наклонился, мужик неожиданно раскрыл глаза и засадил Марату в бок длинными блестящими ножницами, которые держал в заднем кармане джинсов. После чего просто убежал. Марат пробовал его догнать, но с ножницами бежать было неудобно, поэтому он просто повернул к дому и полночи добирался сюда с ножницами в теле, держась рукой за стены и деревья. А девушка оказалась парикмахером.

И они заговорили все одновременно, перебивая и высмеивая друг друга. Он уже не дрался, – кричал Рустам, – он уже с малыми работал! Куда там, – мотал головой Сэм, – я сам ходил на его бои, ясно, это уже был не тот Марат, ну и что?

– Да где? – налегал Рустам, – какие бои? Он на диване валялся целыми днями, со двора не выходил! Правильно, – соглашался Сэм, – а когда выходил, то дрался. Да с кем он там дрался? – вскакивал на ноги Рустам, а Сэм тянул его вниз за рукав спортивной куртки, – у него сердце большое было! Да-да, – поддержал его Костик, – большое доброе сердце.

Я попросился, пожал руки Рустаму с Сэмом, похлопал по плечу Костика, записал телефон дядь Саши, махнул Бене рукой. Меня никто не останавливал. Все устали и засыпали за столом, но не расходились, будто боялись оставаться один на один со всеми этими историями. Туман поднимался кверху, в майские небеса, оголяя предметы, делая темноту ещё более пустой. На втором этаже дома Марата жёлто разъедали ночь три окна. Все три соседки – две полные, одна сухонькая – пристально вглядывались мне в спину, что-то вещая и предвидя.

Я знал эту парикмахершу. Марат познакомился с ней прошлым мартом. Случайно вечером проходил мимо, среагировал на блестящий свет витрины с красивыми, будто отрубленными женскими головами, решил зайти. Был конец холодного рабочего дня, кроме неё в парикмахерской никого не было. Она тоже собиралась уходить – чего сидеть в пустой парикмахерской, когда за чёрным окном начинается сладкая жизнь? И уже сбросила свой блестящий фартук с множеством карманов, забитых ножницами, гребнями и механическими машинками для стрижки. И тут зашёл Марат. Она сразу увидела тёмные круги под его глазами, говорившие о бессонных ночах и выжженных табаком лёгких, увидела его щетину, удивительным образом делавшую его моложе и злее, чем он был в жизни. Заметила его перебинтованную правую руку, понимая, что этот пассажир в случае чего будет стоять до последнего. Скользнула взглядом по чёрной куртке с капюшоном, по спортивной сумке с найковским лейблом, по чёрным, прожжённым в нескольких местах сигаретами джинсам, по лёгким кроссовкам. Подумала, что так в кино выглядят наёмные убийцы. Потом их и находят по отпечаткам их кроссовок. Надела фартук, кивнула Марату на кресло. Тот молча сел. Подошла, долго разглядывала его в зеркале, провела рукой по его колючим чёрным волосам. От Марата посыпались искры. Она взялась за ножницы.

Марат рассказывал, что на ней было слишком много розового и кровавого. Розовые волосы, кровавая помада, розовая майка, кровавые ногти, розовые пушистые тапки, кровавого цвета бельё. Когда она коснулась его, он почувствовал, какие у неё нетерпеливые руки, как она заученно прикасается к мужчинам, как чувствует их жар, сдерживает их трепет. Или не сдерживает, добавлял Марат. Он крутнулся в кресле, притянул её к себе, но этот её розовый фартук с разными парикмахерскими штуками – он мешал, Марат попробовал его стянуть, однако фартук крепко охватывал её тело, защищая от чужих прикосновений. Тогда она сама развязала концы и бросила его на пол, и звонкий металл ножниц и гребней полетел под кресло, а она стояла перед ним, и он смотрел на её оголившийся живот, который никак не могла при-

крыть короткая майка, и резко посадил её к себе на колени, сдирая с неё всё, боясь не успеть, не решаясь остановиться. Она даже дверей не закрыла, рассказывал Марат, кто-то даже заглядывал с улицы, пока он разрывал все её красные бретельки и розовые чулки, пока прижимал её к себе, ощущая, как её кожа то нагревается от его прикосновений, то охлаждается от мартовских сквозняков. А когда она вскрикнула и замерла, он ещё какое-то время поворачивал её лицом к свету, пытаясь понять, что случилось, почему она не шевелится, но потом и сам замер, продолжая сжимать в объятьях и дальше, разглядывал изблизи её волосы, её ресницы, удивлялся, какое это всё яркое и красочное, представлял себе, как она тщательно себе всё это раскрашивает каждое утро, сколько времени проводит у зеркала, как старательно натягивает на себя все эти красивые вещи, как легко потом их сбрасывает. Ещё удивился, как быстро и легко она успокоилась. Смотрела на него внимательно и отстранённо, так, что ему сразу стало неловко, он молча поднялся, держа её в руках, решительно, хоть и не очень бережно опустил на кожаный диван и пошёл домой. Так ничего ей и не сказав.

На следующий вечер снова пришёл. Она опять была одна. Марат молча закрыл за собой дверь, стоял и ждал. Она всё поняла и выключила свет. Улица за окном наполнилась огнями и тенями, они смешивались и растекались, плыли в глазах и размывали очертания домов. Она торопливо говорила ему что-то удивительное и неожиданное, говорила, что ждала его, знала, что он придёт, рассказывала о себе, о своих мужчинах, тихо объясняла, что ей нравится, а что – нет, что она любит и чего боится, и так до глубокой ночи, без усталости, ни о чём не спрашивая, делая всё, что он хотел, не возражая, не останавливая его, пока он сам не остановился и не уснул.

Марату она почему-то нравилась, он говорил, что чувствует, как ускоряется её сердце, когда она целуется, и как потом оно успокаивается и замедляется. Она, рассказывал, иногда ведёт себя так, будто меня совсем нет. При этом лежит рядом со мной. Или на мне. Она просто смотрит сквозь меня, видит что-то своё, может, чувствует моё дыхание, может, чувствует мой запах, не больше. Ему это, похоже, тоже нравилось. Он даже не скрывал дома, что идёт в парикмахерскую. Когда стал ходить чаще, говорил, что ходит туда бриться, что настоящий мужчина должен всегда быть выбритым. Правда, идя бриться в парикмахерскую, иногда брился дома. У него всё ломалось и валялось из рук, все отношения и взаимоотношения: с Алиной, с родителями, с братом. Даже с парикмахершей своей он всё чаще ссорился. Сознался один раз, что уже боится у неё стричься. Она мне голову когда-нибудь отрежет, – как-то сказал он. Где-то так оно и случилось. Вся эта история с ножницами – он её выдумал, сидя у меня в кухне и зажимая рану рукой. Жаловался, что она совсем сошла с ума, что хочет его убить, что требует невозможного и трахается, как в последний раз. Что он пытался ей что-то объяснить, пробовал поговорить с ней, ты понимаешь? – кричал, – я хотел просто с ней поговорить! Но всё закончилось скандалом, она не хотела ничего слышать, плакала и обвиняла его бог знает в чём, он завёлся, накричал на неё, разнёс её рабочее кресло, расколотил зеркало, бил одеколоны и расколачивал пополам фены. Вот она и всадила ему ножницы по самую рукоятку. Но ты никому ничего не говори, – просил он, – никто ни о чём не должен знать. Я и не говорил. Он сам всем рассказал.

Я спрашивал его, почему он не уедет отсюда. Его же постоянно приглашали какие-то родственники отца домой, на Кавказ. Ну, как я поеду? – спрашивал он, – как я их брошу? – говорил он обо всех своих женщинах, обо всех родных, о друзьях и соперниках. – Не могу никак. Но я знал, что он говорит неправду. Знал, что всё дело в Алине. Что она наотрез отказалась с ним ехать. Сказала, что умрёт здесь – с его родителями, в его доме, безутешной вдовой. Но никуда отсюда не уедет. Марат мог делать всё, что ему приходило в голову. Он жил с кем хотел, спал с кем хотел – дрался когда хотел, он терял друзей и наживал врагов, отказывался от важных знакомств и игнорировал дружеские обязательства, под конец перессорился со всеми, даже со мной. Я не общался с ним целую зиму. Костику он был должен много денег. Отдавать,

насколько я понимал, не собирался. Да Костик и не взял бы. Казалось, он готовился к чему-то важному, к какому-то решению, к особенным событиям. И отказаться мог от всего. Кроме Алины. Это я знал наверняка. Сколько бы у него не было женщин, как бы сладко не кусала его эта розовая парикмахерша, я знал, что без Алины он не поедет. И я знал почему. Никто не знал, кроме меня. Почему-то мне Марат в своё время обо всём рассказал. Как они познакомились где-то на улице, как он остановил её, как не хотел отпускать, уже твёрдо зная, что попробует жить с ней вместе. Как она долго его избегала, как всё время что-то скрывала. Как он впервые попал к ней домой и чем всё это закончилось. Как она согласилась наконец жить с ним. Но перед этим рассказала о своей маме, чтобы всё было честно. Рассказала, что мама её время от времени должна лежать в больнице, вот такая беда, ничего страшного, хотя и приятного тоже ничего – просто она иногда никого не узнаёт. Это же не страшно, правда? – спрашивала Алина. – Я тоже не всегда всех узнаю. Одним словом, поскольку это её мама, она должна всегда быть где-то рядом, где-то неподалёку. Марат легко с ней согласился. И знал лучше других, что она никуда с ним не поедет. Следовательно, и он никуда не поедет. Потому что одно дело – спать в чужом доме с чужой женщиной и совсем другое – бросить того, кого бросать нельзя. Никак нельзя. Ни при каких обстоятельствах. По крайней мере, так я это всё понял.

Что с ней будет дальше, думал я, что она себе думает? Что вообще делать дальше? Миновал двор института, поднялся наверх, остановился возле нашей школы. Мой дом стоял напротив, совсем рядом, старый, четырёхэтажный, без ремонта. Подъезд не закрывался. Иногда по утрам я просыпался от подростковых голосов на лестничной площадке: школьники прибежали на перекур. Я жил на верхнем этаже, надо мной была лишь крыша. Там жили сотни голубей, иногда я слышал сквозь сон их воркование. Один раз, уже в старших классах, Марат потянул меня на них охотиться. Не знаю, зачем ему было это нужно. Не помню, почему я на это согласился. Там сотни голубей, – возбуждённо говорил он, – ночью они сонные, их можно просто набирать в мешок. Мы встретились вечером возле моего дома. У него была тренировочная сумка. Мы поднялись. Марат полез первым. Я за ним. На чердаке было душно и тихо. Тишину нарушало разве что невидимое и противное шуршание птичьих крыльев. Я достал фонарик, но Марат меня остановил: ты что, сказал, испугаешь. Он пошёл вперёд. Голуби сидели на балках сонные и беззащитные. Марат легко хватал их и засовывал в сумку. Они давались ему в руки с какой-то удручающей обречённостью, не успев ничего понять, не успев как следует разглядеть свою смерть в лицо. Вскоре сумка была полна. Она вся бурлила изнутри, будто там кто-то с кем-то ссорился и дрался. Марат подошёл к окну, вылез наружу. Позвал меня. Я вылез за ним. Мы аккуратно примостились возле окна, рассматривая дома. Прямо под нами светились тёмным серебром кварталы, в которых мы выросли, тяжёлые нагромождения домов, ветвистые кроны. Светились пустые дворы, в которых застыла темнота, будто вода в затонувших танкерах. Светились окна и балконы, антенны и лестницы. Светились арки и подъезды, столбы и афишные тумбы. Светились кирпичи и железо, трава и камни, глина и ночная земля. Светилась паутина, тонкими прожилками наполняя воздух. Дальше дома обрывались книзу, к реке, и уже там, ближе к руслу, светились крыши складов и автомастерских, светилась холодная ртуть течения, призрачная труба старой мельницы на том берегу, огни частного сектора, белые дымы котельных и фабрик. Далее серебро заливало собой землю и небеса. И можно было лишь догадываться, кто там живёт и что там происходит. Марат зачарованно смотрел перед собой.

– Вот что, – сказал он, – хорошо было бы всё тут купить.

– Для чего? – не понял я.

– Как для чего? – удивился он. – Для престижа. Представляешь, иметь такой дом, – показал он на соседние окна. – Я, когда вырасту, обязательно всё куплю. Всё и всех. Здесь всё будет моим. Здесь и так всё моё, – добавил, подумав.

– Точно, – согласился я.

– Ты что, – обиделся Марат, – не веришь, что я смогу? Увидишь. Я смогу всё. Всё, что можно. Как ты можешь мне не верить? Ты же мой друг, мой ученик.

– Как это?

– Я тебя учил боксу!

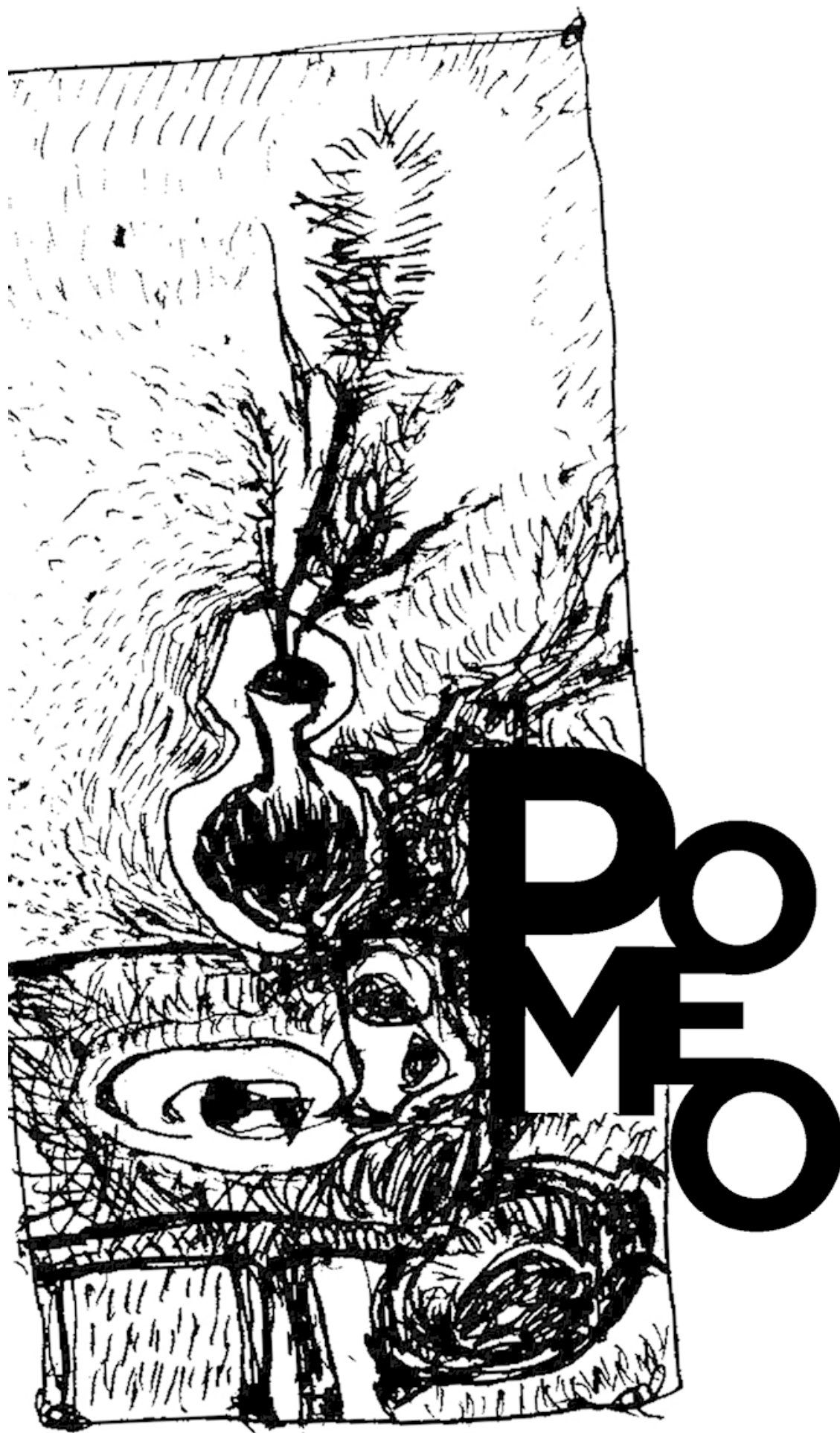
– Да ладно, – не согласился я. – Ты просто дважды меня побил.

– Не важно, – ответил Марат. – Ты, можно сказать, мой любимейший ученик.

– Послушай, – сказал я, – давай их выпустим, – показал на сумку. – А то противно как-то.

Марат приумолк. Видимо, колебался. Потом безмолвно раскрыл сумку, вытряхнул птиц прямо на шифер. Они покатались, взмахивая крыльями и взлетая в воздух. Марат отбросил сумку в сторону. Сидел и молчал. Я тоже не совсем понимал, о чём теперь говорить. Внезапно он обернулся. За нами, в треснутом стекле, резко отражался тонкий лунный серп. Это от него было столько света. Он слепил глаза и забирал покой. Марат осторожно протянул руку и отломил кусок стекла. Будто разломил месяц пополам. Осталась половина. Стало темнее.

Ромео



Два года назад я чувствовал, как сердце каждое утро будит меня ото сна, говоря: давай, просыпайся, мы теряем время. Сколько можно спать, подталкивало оно, подскакивая на месте, давай, мы пропустим всё интересное. Я просыпался и выбегал на улицу, и ни одно из чудес не могло бы тогда меня миновать. Два года назад я рвал ветер лёгкими и был уверен, что за ближайшим поворотом меня ожидает что-то необыкновенное – огни, салюты и праздничные оркестры. И хотя на самом деле меня там не ожидало ничего, кроме весенних сквозняков, это никак меня не смущало. Двадцать лет – тот возраст, когда дьявол приходит к тебе, чтобы пожаловаться на жизнь. Всё завязано на тебе, от тебя требуется лишь поменьше спать. И пользоваться презервативами. Всё остальное обязательно с тобой случится. И случится именно так, как ты того хочешь. Хочешь ты этого или не хочешь.

Я приехал сюда в конце мая. От вокзала шёл пешком. Вещей с собой всего ничего: кожаный рюкзак с парой футболок и старым ноутбуком, термос с коньяком, который не успел допить в дороге. Джинсы, кеды, ядовито-зелёная сорочка – я приехал надолго. Ежедневные пробежки делали мой шаг лёгким и невесомым, причёска делала меня похожим на вокалиста Boneu M в лучшие их времена, солнце щедро отражалось от тёмных, на половину лица очков. Я был звездой, и на меня нельзя было не обратить внимания. По крайней мере, так я себе всё это видел. Город мне понравился: тихие привокзальные двory, заросшие травой и засаженные абрикосами, гаражи, флигели и аварийные здания, из которых выходили медленные, как хамелеоны, пенсионеры, – всё меня устраивало. Запах сахара и шоколада в кварталах вокруг кондитерской фабрики, суровые цеха пустых производств вокруг рынка, ворота, магазины и лечебные заведения – всё было по мне. Я вышел к набережной. Оказывается, здесь были мосты. Это хорошо, – подумал я, – город, который лежит на реке, более защищён и спокоен, жизнь в таком городе держится своих границ и имеет свой порядок. Потом я узнал, что река здесь не одна. Город лежал между ними, на холмах, будто на острове, светясь всеми своими белыми и красными строениями, окружёнными со всех сторон горячей майской зеленью. Что ж, сказал я, ступая на мост, можете меня встречать.

В доме было четыре этажа. Выглядел запущено, то есть уютно. Тихая, в общем-то, улица, только с противоположной стороны, со школьного двора, доносился отчаянный детский крик. Я потянул дверь. Никакого кода – заходи и убивай их прямо в их тёплых кроватях. Хорошее настроение, начало солнечного бесконечного дня. Третий этаж – мой. Чёрные металлические двери, синий резиновый коврик, красная симпатичная кнопка звонка. Иногда жизнь забывает о нашем присутствии и начинает нам нравиться.

Я нажимал и нажимал, выдавливая из красной кнопки крохи противного писка. Никто, ясное дело, не открывал. Бил в двери ногой, напевал весёлые куплеты. Думал даже зайти к соседям, жал на такую же самую красную кнопку, но там тоже никто не открывал. Что делать? – подумал. Других адресов у меня не было, в этом городе меня нигде не ждали. Швырнул рюкзак под стену, уселся на коврик, открыл термос, когда-нибудь они возвратятся, – подумал я, – и так или иначе пожалеют.

Через какое-то время заметил, что за дверью кто-то ходит, довольно беззаботно, и что-то сам себе напевает. Соседи снизу, – подумал я. Но нет – ходили-таки за дверью, к которой я привалился. Я вскочил на ноги и потянулся к звонку. Шаги стихли, потом едва слышно приблизились. Кто-то разглядывал меня в глазок. Я шагнул назад, чтобы можно было разглядеть мои очки. Главное – произвести впечатление, – подумал. Двери открылись.

У неё была игривая причёска. Не просто окрашенные в белый цвет волосы, а окрашенные разными оттенками белого. Приятные и праздничные. Взгляд вопросительный, сонный.

Вообще выглядела заспанно. Красная пижама, поверх которой абы как накинут белоснежный халат с гостиничным лейблом. Время от времени он сползал, и тогда она напоминала боксёра, который, готовясь выходить на ринг, сбрасывает командный халат на плечи массажистов. Зелёные глаза, бледная от курения кожа, нежная шея, стояла босиком, переступая с ноги на ногу.

- Ты кто? – спросила, заглядывая мне за спину.
- Рома, – ответил я, тоже оглядываясь. – Вам мама моя звонила.
- Мама? – не поняла она. – Для чего звонила?
- Я у вас жить буду, – объяснил я.
- С мамой?
- Сам. Мама дома.
- Дома? – переспросила она, поправляя всё сползавший халат. – И что она делает, дома?
- У неё процесс, – ответил я.
- Что?
- Процесс. Она юрист.
- Всё, – вдруг вспомнила она, – вспомнила. Ты Рома, да?
- Рома.
- Мама – юрист.
- Точно.
- А что у тебя на голове?

Звали её Даша. С мамой моей они познакомились на семинаре месяц назад. Днём сидели рядом, записывали за докладчиками, обпивались кофе на брейках. Вечером, во время корпоративного боулинга, напились, мама знала, как это делается, под конец вечера она висела у новой подружки на плече и рассказывала, что я вот-вот должен оставить родительский дом, поскольку перевёлся к ним на учёбу. Год не доучился, – плакала мама, – ясно, что ему сидеть со мной, какой интерес? Вот он и перевёлся. А где он там жить будет? На вокзале? Мама вытирала слёзы и заказывала ещё, а от этого ещё больше плакала. Наконец Даша сказала: ну, что за беда, пусть поживёт у меня, у меня есть свободная квартира, бабушка очень своевременно умерла. Я всё равно собиралась её сдавать, лучше сдавать знакомым – хоть мебель не вынесут. А захотят вынести, всё равно не смогут – её там просто нет. Мама ухватилась за такой вариант: если уж отпускать малого, ну, это меня, значит, во взрослую жизнь, то лучше знать, где потом искать тело. Я на всё соглашался. Даже если бы не было этой Даши, я бы всё равно нашёл где жить. Главное – выбраться из комнаты, которая воняла детской одеждой и школьными учебниками. Я давно собирался куда-нибудь съехать, в двадцать лет жить с мамой – удовольствие сомнительное. Она много пила как для юриста, я много времени проводил в ванной комнате. Лучше для всех в такой ситуации – разъехаться и писать друг другу письма.

Похоже, впечатления я на неё не произвёл. Конечно, мне это не понравилось. Я думал, нужно ей что-нибудь рассказать о маме, о том, что интересует меня в жизни, чем я занимаюсь, на что рассчитываю, но она меня опередила.

- Пойдём, – сказала, – я тебе всё покажу.

Подошла к соседним дверям, открыла их, вошла внутрь. Меня не приглашала, я постоял на пороге, потом вошёл. Две комнаты. Похоже, не так давно ремонтировали. Видно также, что ремонтом занималась она сама: обои отклеивались, в душевой стояли тёплые лужи, потолок был не то чтобы побелен, скорее покрашен. Даша прошла в комнату, открыла окно, свесилась наружу. Красивые икры. Хорошо, что я поселился именно у неё, – подумал я. Тут она оглянулась.

- Ты без спальника? – спросила. – Хорошо, дам тебе матрац. Значит, здесь кухня, – она потянула меня в соседнюю комнату. Там стояла плита. Ну, и всё, больше ничего. – В принципе,

не так важно, – сказала на это она. – Рядом пиццерия, если что. Душ, – произнесла, осторожно переступая через лужи. – Полотенце дам, – добавила. – Что ещё? Да, интернет, свет, газ. Ты меня разбудил, – сказала, – я что-то никак не сосредоточусь.

Мы перенесли из её квартиры большой матрас, залитый акварельными красками и перемазанный пластилином и губной помадой. У Даши было тонкое тело и приятный голос. Я подумал, как хорошо было бы спать с ней на этом матрасе. В конце концов, почему бы и нет, – подумал. – Главное – произвести впечатление. Живёт она, похоже, одна. Спит до обеда. Ходит по подъезду в пижаме. Мне подходит, – подумал я, глядя, как она легко наклоняется над матрасом, пытаясь снять с него какую-то соринку. Просто нужно брать всё в свои руки, – подумал я и пошёл в душ.

После обеда она снова забежала. Сказала, что поехала по делам, принесла постель, оставила ключ от своей квартиры, объяснила, что, когда проголодаюсь, могу пойти на кухню и брать из холодильника всё, что найду. А найдёшь ты там, добавила, разве что капусту. Свежую, уточнила. Была в деловом костюме песочного цвета. Он её немного полнил, но туфли на высоких каблуках всё ставили на своё место – не совсем молодой, но уверенный в себе юрист, с боевой причёской, из-под белоснежной сорочки просвечивало нижнее бельё. Накрасилась впопыхах, пахло от неё кофе, и говорила она так много и громко, что я даже не понял, когда она ушла.

Ну, хорошо-хорошо, злился я, не навсегда же она ушла, скоро вернётся. Какие у неё могут быть дела? Ну, судебное заседание, ну, очная ставка, опознание трупов. Вытащит ещё одного неудачника из когтистых лап смерти, распишется где нужно, и домой, ко мне. Главное – не потерять момент, не пропустить возможность, поймать своё счастье, когда оно будет пробегать по коридору. Вечер медленно, как гостиничное бельё, менял день, делал зелень тёмной, а стёкла розовыми. Свет мягко скользил по полу и пустым стенам, за деревьями на улице слышались голоса и детский смех. Хотелось идти на эти голоса, бродить между деревьями, касаться в темноте женских рук, ловить зелёные месяцы, срывающиеся с ветвей под тяжестью собственного веса.

Как всё устроить, думал я, как всё устроить? Можно, скажем, прийти к ней на кухню. Будто за едой. Сдержанно пожаловаться на голод, сурово предупредить, что приготовлю всё сам, но попросить её помочь. Быть уверенным и немногословным. Можно прийти без футболки, пусть видит, какой я загорелый. Можно прийти босиком. Нет, сразу же передумал я, босиком не годится, она всё поймёт, скажет: ты бы ещё голый пришёл. Хорошо, тогда пляжные тапочки. Чтобы в случае чего не возиться со шнурками. Так, похвалил я себя, именно так. Попросить её достать пряности: корицу, кардамон, чёрный перец. Пряности у неё, очевидно, на какой-то полочке. И когда она за ними полезет, спокойно, главное – спокойно! – подойти и коснуться её ног. Будто поддерживая её. А дальше она сама всё поймёт. Почувствует тепло моих ладоней. И тогда я сниму её со стула, посажу на стол и начну раздевать. Главное – чтобы она не успела до того снять свой костюм. Ей в нём будет, наверное, неудобно, она сама захочет избавиться от него, поможет снять пиджак, нервно потянет вверх юбку, так тесно облегающую её горячие бёдра. И вот тогда можно будет скинуть тапочки.

Или, не мог успокоиться я, можно прийти и попросить у неё какую-нибудь ерундовину. Скажем, мыло. Нет, возразил я сам себе, тогда она точно всё поймёт. Лучше не мыло. Лучше зубную щётку. Прийти к ней в тапочках, с обнажённым торсом, можно в очках, и сурово и немногословно попросить запасную щётку. Мол, свою забыл в поезде – быстро собирался, помогал женщинам, выносил на перрон детей, эвакуировал пенсионеров. Щётка у неё наверняка будет в ванной. И когда она войдёт туда в своём деловом костюме, можно проскользнуть за ней, стать у неё за спиной, близко-близко, так, чтобы она почувствовала запах моего дезодоранта и замерла встревоженно, всё понимая, всё предчувствуя. Вот тогда можно коснуться её одежды, ощущая, как под ней трепещет её чуткое тело, молча стянуть с неё пиджак, помочь

снять юбку, чтобы она осталась в одной белой, как у школьницы, сорочке и в красочном белье, поставить её над рукомойником – блестящим, как рафинад, чтобы она могла видеть себя в зеркале: как от радости и нетерпения разглаживаются все её морщинки, как расширяются зрачки, как не хватает воздуха. И даже тапочки можно при этом не сбрасывать.

Но и это ещё не всё, заводился я, это ещё далеко не всё! Можно прийти к ней с ноутбуком, мол, не могу настроить инет, какой пароль, мол? Она в это время может валяться на своей кровати в деловом костюме, измученная долгим рабочим днём, очными ставками. Будет лежать на животе (она, уверен, любит спать на животе) и будет смотреть телевизор, желательно без звука, чтобы не отвлекаться. Можно стать между ней и экраном и сдержанно, сурово спросить пароль. А она может сказать: ты знаешь, я и сама его не помню, давай сюда ноут, сейчас наладим. И похлопает ладонью рядом с собой, прыгай, мол, давай, сейчас всё сделаем. И тогда нужно спокойно (спокойно!) сесть рядом с ней. Главное – не забыть сбросить тапочки. А когда она начнёт возиться с ноутбуком, можно взяться ей подсказывать и будто ненароком накрыть её ладонь своей, и коснуться её волос, и посмотреть – внимательно и уверенно – в её широко раскрывшиеся глаза. И вот когда она всё поймёт и отложит в сторону мой непутёвый ноут, мне и делать ничего не придётся – она сама прыгнет на меня и начнёт срывать с себя пиджак, и рвать молнию на юбке, и кусать моё закалённое тело (если я буду без футболки) или грызть от нетерпения футболку (если я буду в ней). И всё, что нужно будет от меня, – оставаться мужественным и немногословным, суровым, но справедливым, выдержанным, сильным и благодарным.

С этим я и заснул. Во сне надо мной летали ласточки. Угрожающе вычерчивали круги. Но я не боялся.

Я и проснулся совершенно случайно, не так услышав, как почувствовав её шаги. Сначала внизу скрипнула дверь, потом она затопала по вытертой лестнице, постукивая ладонью по перилам, замирая на этажах, заглядывая вниз, пережидая и трогаясь дальше. Она поднималась так бесконечно долго, что я успел разогнать всех ласточек, рванул в ванную, намочил волосы, чтобы всё было как следует, бросился к лестнице. Столкнулся с ней лицом к лицу. Её заметно шатало. Она держала по бутылке шампанского в каждой руке. За собой волочила по лестнице пиджак, небрежно подцепив его правым мизинцем. Туфли её были перемазаны песком и травой. Улыбалась пьяно, выглядела волшебной.

– О, – удивилась, – ты без тапочек?

– Не важно, – заговорил я сдержанно и сурово. – Услышал, что ты идёшь.

– Ждал меня? – засмеялась она.

– Ключи хотел отдать, – продолжал я, так же сдержанно и сурово.

– Выпьешь? – предложила Даша.

– Шампанское? – спросил я предельно сурово. – Разве что за компанию.

Она бросила на пол пиджак, села на него, пригласив и меня. На юбку её нельзя было смотреть без боли, так это было откровенно. Я сел рядом, ощущая босыми ногами холод ночного пола. Нужно было всё же не надевать футболку, – подумал, – пусть бы разглядела, пусть она бы всё разглядела. Даша сама взялась откупоривать шампанское, долго с ним боролась, болтала бутылку, зубами грызла фольгу. Наконец бутылка взорвалась, Даша запищала, однако быстро успокоилась, за знакомство, – сказала и приложилась к вину. Шампанское залило её всю с головой, потекло с губ, куда-то за воротник белоснежной сорочки, Даша резко передала бутылку мне, начала расстёгивать пуговицы, вытирать кожу, я совсем растерялся, глядя, как она нежно и старательно касается своего тела.

– Давай, – сказала, – пей.

– Как работа? – спросил я важно.

– Работа нормально, – объяснила она. – Нервная работа. У клиентов всегда проблемы. Как работать с людьми, у которых проблемы? Их лечить нужно. А ты чем собираешься заниматься? – спросила.

– Обживусь пока что, – ответил я, решив не открывать всех козырей. – Можно тебя поцеловать?

– Ещё чего! Заведи себе друзей – с ними и целуйся. Всё, давай.

Поднялась, подхватила пиджак, сунула мне неоткупоренную бутылку и пошла спать.

Что я сделал не так? Где ошибка? Футболка? Тапочки? Очки? Всё должно было закончиться совсем иначе. Я сейчас должен был лежать в её постели, она – рядом, нежно и утомлённо глядя в мои непроницаемые глаза. Вместо этого я стою посреди кухни с фугасом шампанского в руках и не знаю, куда руки девать. А она в это время, что она делает? Ага, вот она тоже выходит на кухню – за стеной послышались шаги, я поставил шампанское на пол и припал ухом к стене. Вот она подходит к окну, открывает, на неё сразу же бросается вся сумеречная живность, все эти насекомые и жуки, она быстро закрывает окно, подходит к шкафчику на стене, звенит посудой, достаёт банку с чаем, сахар, чашку, ложечки, блюдца. Мелодично всем этим позвякивает, ставит на стол прямо за моей стеной, на расстоянии руки, на расстоянии выдоха. Зажигает газ, ставит чайник, садится. Встаёт, подходит к окну, снова открывает, достаёт зажигалку. Чёрт, она курит. Нервно добывает сигарету, выдыхает дым, прикрывает окно, достаёт из кармана пиджака мобильный, проверяет входящие, стремительно прячет телефон назад. Закипает чайник, она долго не обращает на него внимания, стоит и напряжённо смотрит перед собой, прямо туда, где стою я. Порывисто поворачивается, со злостью перекрывает газ. Садится за стол, тяжёлым движением сгребает в угол все чашки, ложки и блюдца. Дальше я не могу расслышать. Что она делает? Что она там делает? Плачет! – внезапно доходит до меня. – Она плачет! Она там сидит и плачет! Да-да, сидит одна в пустой квартире и ноет. Заливается горькими слезами, безутешно убивается, надышавшись горького табака, и нет никого, совсем-совсем никого, кто бы услышал её плач, кто бы мог её утешить! Никого, кроме меня. Я даже подскакиваю от такого прозрения, сбиваю бутылку, та глухо заваливается на бок и медленно, как гружённый нефтью товарняк, катится по вымытой холодной плитке, поскрипывая и ломая окружающую тишину. Она с той стороны настораживается. Всё понимает и замолкает, прислушиваясь. Бутылка докатывается до стены и останавливается. Я тоже затихаю. Стою и слушаю, как она молчит. Молчит, зная, что я здесь, что я всё слышу, всё знаю, обо всём догадываюсь.

Она разбудила меня в начале восьмого, открыв двери своими ключами, и закричала с порога:

– Так и знала, что ты спишь!

Пробежала по коридору, заглянула в ванную, бросила придиричивый взгляд на кухню и завалилась прямо в комнату, где я спал. Спал я без одежды, и вот тут она наконец разглядела всё.

Ой, – сказала, садясь рядом и касаясь моего плеча, – что у тебя с кожей? – спросила, разглядывая мою татуху. – Это пёс?

– Дракон, – ответил я, – просто недорисованный.

– Ну, – не согласилась Даша, – какой же это дракон? Это пёс. Смотри, какой у него хвост. Такса, – она ещё раз прикоснулась к моему дракону. По моей коже потекла огненная лава. Однако не успел я ответить, как она соскочила с кровати. – Давай, – приказала, – одевайся, что-то тебе покажу.

Я поспешил одеться. Почему-то мне не хватало уверенности, к тому же после таксы вообще не было желания в чём-то её переубедить. Даша открыла двери на балкон, вышла,

стояла и махала рукой: давай, говорила, где ты там есть. На ней был белый гостиничный халат. Волосы схвачены сеточкой, в ней она, похоже, и спала, от чего причёска её напоминала тщательно и умело подобранный овощной набор для супа. Я хмуро подошёл.

– Так, – сказала оглянувшись, – сейчас я тебе всё покажу. Потом отоспишься. Смотри, – начала она, освобождая мне место. – Видишь?

Я посмотрел вниз. Было много солнечного света, он слепил глаза и лишал предметы чёткости. Через мгновение зрение вернулось, предметы обрели чёткость, краски обрели полноту. Май заканчивался зеленью и теплом, свежий воздух лежал на крышах и стоял во дворах. По улице бежали школьники, сновали редкие прохожие, на дороге стоял дворник, светясь изда- лека оранжевым огнём жилетки. Так начинается праздник, – подумал я.

– Значит, – начала Даша, – это вот школа, – ткнула она пальцем в двор напротив, – я там не училась, я года три как переехала. Но, чтобы ты знал, там происходят страшные вещи. Директриса часто спит в своём кабинете. Не одна. К ней приезжают. Машина с дипломатическими номерами. До утра крутят итальянскую эстраду и курят, высунувшись в окно. У неё красная ночная рубашка, если это тебе интересно. Рядом – салон красоты, – ткнула она снова. – Они там все наращивают друг другу ногти. Посмотри как-нибудь, они выходят на улицу, чтобы перекурить, садятся на скамейку, видишь, там есть скамейка под стеной, и достают друг другу из карманов сигареты, потому что сами себе достать не могут – ногти мешают. Потом сидят, как совы, вцепившись ногтями за край скамейки. За углом подозрительный ресторан – владелец каждое утро ходит по улице в розовом кимоно и разговаривает с кем-то по дамскому мобильнику. Дальше – спортивный паб, там арабы смотрят европейские лиги. За ними вьетнамцы открыли тошнилровку, сами там не едят. Рядом с вьетнамцами, в подворотне, если надумаешь, сделанный под сауну бордель. Рядом с борделем – пустое здание, летом там живёт бомжота, тоже интересно. Рядом с бомжами – мастерские художников, смотри не перепутай. Напротив – тубдиспансер. Так, что дальше? – Она посмотрела налево. – Слева. Слева издательство, подозреваю, что там прячут левую документацию, заносят по вечерам бумажные пакеты, выносят на рассвете трупы, завёрнутые в китайские ковры. Дальше старая усадьба, думаю, там дожи- вают свой век любовницы отцов города. Я их иногда вижу на веранде, ну, не отцов города, ясное дело, их любовниц. Они там пьют чай с ромом. Самой молодой из них лет семьдесят.

– Правда? – засомневался я.

– Святая правда, – подтвердила Даша. – У неё, к слову, тоже красная ночная рубашка. Она прямо в ней и пьёт свой чай. С ромом, – добавила. – Дальше новый дом. Его долго не могли заселить – дорого. Поэтому там какое-то время жили строители: ночевали в спальни- ках, жарили мясо на огне, находили что-то вкусное на складах. Как партизаны, честное слово. Там дальше, если повернуть, есть несколько продовольственных, они всегда закрыты. Чем на самом деле торгуют – не знает никто, но лично я видела несколько раз, как туда заходят моло- дые женщины и не выходят оттуда уже никогда. Вниз идут частные дома с палисадниками, там почти никто не живёт. Но никто и не умирает. Много деревьев. Сейчас всё цветёт. На верх- них этажах ночью горит свет, на нижних, как правило, какой-то бизнес – ксерокс, нотариус, изготовление памятников. Дальше заправка, мастерские, а там и река. А вот здесь, прямо под нами, – посмотрела она вниз, – военкомат. Я знаю пару секретарш оттуда – трудная работа, скажу тебе, вредная. Ты служил?

– Нет, – ответил я нехотя.

– Ясно, – поняла она. – Ну и наконец – наш дом. Значит, смотри, – она перегнулась через ограждение, я еле успел её ухватить за полу халата, – на первом этаже живут армяне, запах одеколona слышишь? Это от них. Их там двое, всем говорят, что братья. Я не верю. Соседские окна, антенна, видишь? Анфиса, журналистка, ведёт погоду. Будет приглашать в гости – не ходи. У неё там мама – сразу поженит. Разве что захочешь больше знать про погоду. На втором этаже стоит пустая квартира. Мужик-охотник устроил стрельбу. Вендетта! – весело

закричала Даша. – Я как раз въезжала, когда он отстреливался от милиции. Бывший военный, артиллерист. В последние годы ремонтировал одежду. Но ружьё держал заряженным. Квартиру так никто и не купил. В ней пахнет смертью. А вот напротив артиллерийской квартиры живёт Гуталин – коммунист и гондон.

– Гондон? – переспросил я.

– Гондон, – подтвердила Даша. – Гнида редкостная, постоянно заливаает соседей. Думаю, он это специально делает. Ну, с нашим этажом понятно.

– Ничего не понятно, – не согласился я. – Откуда у тебя две квартиры?

– Хотя это и не твоё дело, – ответила Даша, – но я тебе расскажу. – Ту, в которой я живу, мне оставил бывший муж. А в этой жила его бабушка. Внука она не любила, квартиру оставила мне.

– А где он, – спросил я с недоверием, – этот твой муж?

– По-моему, в Эмиратах, – ответила Даша. – Или в Саудах. Короче, вывел куда-то активы. Здесь для него слишком холодно.

– А бабушка?

– А бабушка умерла. Она и так долго держалась. Она почтальоном работала, до последнего клиента. Короче, пока не уволили. Да, а надо мной, – сказала она шёпотом, – слышишь, ходит, это Иван Иванович. Он продаёт завод. Лет десять. Но без мази. Вань, – крикнула в небеса, – эй!

Сверху выглянул мужчина. Под сорок, худощавый, с усталостью в глазах, с сигаретой в зубах, в тёмном костюме, в несвежей рубашке. Выглядел так, будто только вернулся с поминок. Тепло кивнул Даше, внимательно посмотрел на меня.

– Твой? – спросил.

– Мой, – подтвердила она.

– Подрос.

– Кто? – не поняла Даша.

– Ладно, – махнул он рукой и ушёл, прикрыв за собой балконные двери.

– Если ночью громко будешь кричать, – предупредила Даша, – он всё услышит. Короче, – Даша завернулась в халат, будто генерал разбитой армии в шинель, – наслаждайся жизнью.

Но какая могла быть после этого жизнь? Какое могло быть наслаждение? Я потерял покой. Неужели ничего не будет? – думал я, стоя возле окна и глядя, как поднимается солнце. Что она себе думает? Простоял на балконе до обеда, провалялся в кровати до вечера, вышел её встречать. Напустил на лицо остатки сдержанности, скрывая за очками растерянность и гнев, прошёлся улицей – от военкомата к тубдиспансеру, от салона красоты к дому бывших любовниц. Туда, потом назад, потом ещё раз, потом снова, и так до бесконечности. В который раз возвратившись, заметил её в конце улицы. Шла неспешно, разглядывая огни в жёлтых вечерних окнах. Я молча направился навстречу. Поздоровался, поинтересовался делами, поделился впечатлениями, наплёл о себе, про деловые встречи, мол, целый день бегал (да-да, в тапочках), переговаривался с партнёрами (в очках, а как же), хорошо, что встретились, давай провожу, помогу нести вещи. Из вещей у неё был какой-то коммерческий глянec, который она мне, впрочем, не отдала.

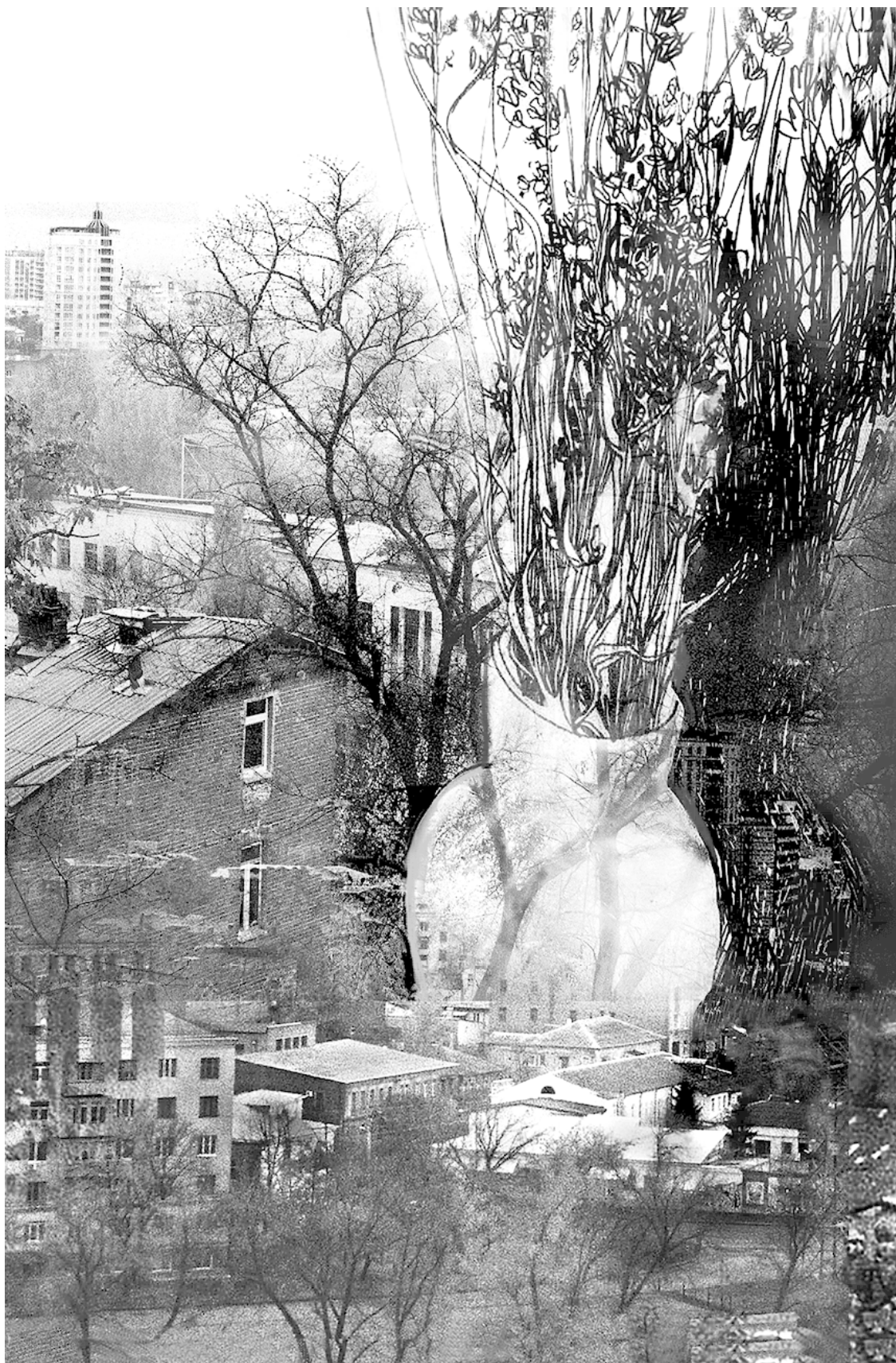
Поднимаясь по лестнице, молчала, была задумчива и невнимательна, один раз даже попробовала прикурить от фильтра. Расценил как добрый знак. Она готова, решил, она всё поняла, всё увидела и на всё согласна. Ещё заметил, насколько иначе она выглядит в профиль, становится похожей на лисицу, в её взгляде появляется что-то недоверчивое, как удивительно, – подумал я, – когда смотришь в её глаза, этого всего нет. Так, будто она прячет своё настоящее лицо, выдавая себя за кого-то другого. Это всё губы. У них необычные линии, но,

чтобы это понять, нужно смотреть на неё сбоку. Так иногда бывает, – подумал я, – так даже лучше.

Но на пороге, как только я попробовал остановить её, встать на её пути, коснуться, где-то в карманах её рабочего костюма заурчал телефон, и она уверенно отстранила меня, оттолкнула коротким железным движением, как и положено настоящему адвокату, а достав мобилу, сразу напряглась, сбросила звонок и исчезла за дверью, даже не пожелав мне сладких снов.

Но они мне всё равно снились.

Принцесса, напевал я на следующее утро, проснувшись в помятых джинсах и несвежей футболке и печально разглядывая потолок, зачем разбиваешь мне сердце? Зачем отдаёшь его голубям на площади? Они забавляются им, сидя на антеннах, а я плачу, принцесса, пока ты рисуешь яркими красками своё лицо. Зачем ты держишь меня в этих серебряных цепях, зачем надеваешь на меня чёрный ошейник, который душит меня, не давая высказать всё, что я думаю о любви и жестокости? Куда ты исчезаешь по утрам, принцесса, в каких норах скрываешься от меня, лисица? Почему не придёшь и не отпустишь меня, почему держишь меня на цепи, почему никогда не называешь меня по имени?



Я пел себе, пока за окном просыпалась улица, пел, пока оживал дом, пел, не пытаясь встать. Получается, думал я в отчаянии, любовь может быть несчастной. От неё может быть больно, от неё может портиться настроение. Кто бы мог представить, думал, кто бы мог пред-

видеть. Между тем солнца становилось всё больше, голоса звучали всё наглее, дом наполнялся ими, на страдания совсем не оставалось времени. Мне нравился этот дом. Он был похож на электроорган. Я слушал с утра, как рабочие брались за кабель, тянули его по влажному холодному асфальту и подключали к синим потокам электрического тока. Двери подъезда были открыты, и сквозняки вели себя в них, как водоросли, легко поднимаясь, как только кто-нибудь вбегал с улицы. Ещё ночью, пока все спали, если замереть, можно было услышать капание воды на кухнях, тараканье шуршание механических будильников, сонное перешёптывание голубей на крыше, тихий женский вздох во сне, будто кто-то настраивал провода и антенны, готовясь к праздничному концерту. Ближе к утру дом приходил в движение, сопровождавшееся первыми отчётливыми звуками – ветер свистел по подоконникам и по комнатам, как бывалый музыкант на духовых инструментах, скрипели полы, перекликались радиоголоса, подавали голоса ножи и сковородки, бритвы и фены, утюги и тостеры, звонко заявляли о себе рингтоны, сладко разлетались последние новости, слышно было посуду, слышно было воду, поцелуи и перешёптывания, пение маршей и скороговорку молитв, весёлый бег по лестницам, окончательно пробудившиеся коридоры и балконы, звучащие теперь, как сдвинутое с места пианино, а ты находился, казалось, внутри него, где-то среди самых глубоких звуков, среди самых тревожных нот, находился, слушая, как звучат дерево и жёсть, металл и цемент, стекло и кожа, скреплявшие между собой этажи и перекрытия. И когда под обед в подъезд забегали дети, от их высоких голосов принимались фонить невидимые микрофоны, дом выстреливал гулким эхом, и эта музыка рикошетов носилась по воздуху – меланхолично в обед, отчаянно под вечер, стремительно в полночь, всё не стихая, не обрываясь, не замолкая, разливаясь и раскатываясь.

От этой музыки хотелось умереть. Этим я и занялся.

Уже к вечеру алкоголь переполнял мою голову, как вода в половодье, готовая в любой момент залить пустые улицы беззащитного города. Всё, что я выпил, всё, на что я решился и к чему приложился, – а были это дивные смеси и неожиданные комбинации из шампанского, хереса и рома – всего, на что хватило моей горячей фантазии, вся эта влага охлаждала моё сердце изнутри, замедляя непоправимое, будто графит в ядерном реакторе, не давая, впрочем, никаких причин усомниться, что оно, это непоправимое, терпеливо ожидает меня впереди. Я слишком любил себя, чтобы разбираться в алкоголе, я был слишком самоуверенным, чтобы вовремя остановиться. Я шастал по разным подозрительным местам, заглядывал во все дыры и подвалы, о которых она упоминала, был у арабов, забегал к вьетнамцам, брался с работниками макдональдса, пил на брудершафт с туберкулёзниками, заказывал шампанское в сауне «Здоровье», вырубился в подвале напротив синагоги, пришёл в себя в детском кафе, запивая молочные коктейли горными бальзамами, спрашивал адреса у продавцов пиццы, умер от коньячных испарений в баре у грузин, воскрес от запаха мадеры в пустом супермаркете. Держался, пил и пил за её здоровье, настойчиво предлагал встречным славить её фантастический профиль, пить за её голос и кожу, за её парикмахершу, что, колдуя над ней, создаёт на её голове космические ландшафты. Стоял, слегка покачиваясь, словно юнга на корабле. Ввязывался в дискуссии, доказывая всем, что ни у одной женщины в этих кварталах, в этом городе нет таких зелёных глаз, ни одна не умеет так убедительно сыпать проклятиями и просить прощения, ни у одной нет таких высоких каблуков, таких тонких запястий, такой биографии. Удивительно, что меня не побили туберкулёзники. Примечательно, что не ограбили вьетнамцы. Приятно, что выкинули из макдональдса. Жить мне оставалось всего несколько часов. Я решил провести их с пользой. Но не смог.

Она нашла меня возле подъезда. Я сидел на ступеньках, прислонившись к дверям и не давая никому выйти из дома. Сначала она разгневалась. Потом испугалась. Подхватила меня, как смогла, потащила наверх, к себе. Пока тащила, я проснулся, пытался подсвечивать ей мобильником, набирал при этом случайные номера, удачно, как мне казалось, шутил по поводу её имени, уместно, был уверен, предлагал выйти за меня замуж, нежно, на мой взгляд, висел

на ней, обнимая одной рукой её, другой – перила. Она усадила меня на кухне и попросила заткнуться. Ходила и решала, что со мной делать. Сначала надумала позвонить моей маме. Потом решила сделать мне крепкий чай. Потом совсем уже нервно предложила промыть мне желудок, поставить капельницу, выпить снотворное, выпить витамины, выпить морс, выпить марганцовку, выпить морс с марганцовкой, выпить марганцовку без морса, но со снотворным, выпить всё вместе и запить чаем – так или иначе, она заботилась обо мне, и от этого сердце моё усиленно перекачивало кровь, и кровь моя затекала в сердце нежно-красной, а вытекала из него тёмно-кровавой.

Пока она ходила вокруг, пока рылась в шкафах и ящиках, выискивала в гугле рецепты и звонила знакомым аптекарям и анестезиологам, мне становилось всё более сиротливо и горько. Кухня у неё была набита разными травами и специями, овощами и морепродуктами. Я легко узнавал запах корицы и гвоздики, острый аромат карри, щемящие ароматы чёрного перца, резкое присутствие чеснока и лимона, тяжёлый дух рубленого мяса, светлую пахучесть резаных овощей, свежесть льда и невесомость муки, горечь, обречённость и неотвратимость стейков, прозрачность уксуса, мечтательность сои, неповоротливость томатного соуса. Запахи прибывали, множилось, они стояли надо мной, как бесы, проникая в лёгкие и сжимая горло, они обступили меня, как войско крепостные стены, они складывались надо мной в необычные конструкции, обретали неожиданные очертания, волновали и угнетали. Жизнь моя пахла свежемороженой рыбой, смерть моя будет отдавать китайскими грибами. Количество запахов убивало меня, их насыщенность делала эту смерть болезненной. Только не здесь, приказывал я сам себе, только не у неё дома. Иди домой, не медли, нашёптывал я сам себе, вали отсюда. Только не здесь. Тогда она открыла холодильник. И я умер.

Потом она долго стояла надо мной, засовывая мою голову под холодную струю. Я отворачивался и пытался подняться, отводил её руку, но она настойчиво вымывала из меня боль и черноту этого мира, говоря что-то жизнеутверждающее и не давая мне встать. Одежда её давно намочила, я понимал, что ей холодно, что ей всё это сто лет не нужно и что я веду себя как последний мудака. И от этого понимания слёзы текли по моему лицу, смешиваясь с холодной водой, что ж так, думал я в отчаянии, что ж я так всё испортил? Что ж теперь делать? Я просил у неё прощения и требовал отпустить меня, уверял, что со мной всё хорошо, и привирал, сколько я на самом деле выпил, просил налить мне ещё и тяжело отплёвывался шампанским и кока-колой, сдержанно говорил что-то о её волосах и немногословно предлагал пойти со мной в кровать. Она терпеливо всё это выслушивала, легко давала мне подзатыльник, когда я заикался о сексе до свадьбы, едва слышно вздрагивала от холодной воды, с лёгкой улыбкой принимала все мои предложения.

Когда я уходил от неё, оставляя за собой в коридоре лужи, мне захотелось сказать что-то важное.

– Знаешь, – сказал, – я бы тебя охотно поцеловал. Но сама понимаешь, я здесь тебе всё обрыгал, представляю, как от меня теперь несёт.

– Иди-иди, – ответила на это она, то ли соглашаясь, то ли возражая.

И с утра я всё помнил, ничего не забыл, ни одного её слова, ни одного её прикосновения. Помнил, как встревоженно она на меня смотрела, как бережно держала за руку, как заботливо вытирала все мои сопли. Ничего не забыл, хотя лучше было бы ничего не помнить. В памяти стаями летали суматошные ласточки, на сердце мне давили мешки со льдом, хотелось избавиться от этого больного тела. Однако я знал: нельзя терять время. Сейчас или никогда. Я поднялся, кое-как оделся, с третьей попытки почистил зубы, ошпарил руку, заваривая чай, разлил молоко, рассыпал сахар, перевернул ведро с мусором. Вот теперь всё случится, сказал я себе и решительно потянул на себя её двери.

Снова никто не открывал. Снова пришлось стоять и прислушиваться к голосам и звукам. Что за чёрт? – думал я. – Она что, не хочет меня пустить? Громко заколотил в чёрный металл дверей, будя голубей на крыше. Наконец зазвенели ключи, нащупывая замок, дверь тяжело открылась. Я рванул вперёд и наткнулся на пацана. Было ему лет семь. Белая майка и футбольные шорты, колени сбитые, локти поцарапанные, волосы чёрные и густые, смотрел исподлобья, доверия не вызывал. В руках держал шариковые авторучки и карандаши. Критически осмотрел меня с ног до головы. Тут из кухни выбежала Даша. Смутилась, нарочито небрежно положила руки пацану на плечи.

– О, – сказала, – Ромео, это ты? А это Амин, – кивнула на пацана.

– Как? – удивлённо переспросил я.

Пацан посмотрел на меня с ненавистью.

– Классные у тебя авторучки, – сказал я ему миролюбиво. – Это что, настоящий паркер?

У меня когда-то такой был.

– Ты умеешь писать? – процедил пацан и пошёл на кухню.

– У него каникулы начались, – быстро зашептала Даша, – его бабушка утром привезла. Хотя что ему здесь летом делать? Его бы на море куда-нибудь.

Точно, – подумал я, – на море, за буйки.

Я сидел на кухне, Даша бегала и что-то готовила, демонстрируя гостеприимство, пацан смотрел на всё это скептически. На маму он похож не был. Но маму, несомненно, любил. Я ему, очевидно, мешал. Он мне тоже. Даша всё больше нервничала, что-то у неё сгорело, что-то она пересолила, что-то просто выбросила в мусорное ведро. Я пробовал разговорить Амина, но тот мне откровенно хамил. Мама делала ему замечания, но он хамил и ей, отчего она нервничала ещё больше. Наконец она не выдержала, схватила телефон, выбежала в соседнюю комнату, с кем-то долго говорила, пока пацан злобно вырисовывал паркером в школьной тетради монстров и серийных убийц. Я поднялся и пошёл к себе. Пацан даже не поднял головы.

Так прошли две недели. Я просыпался рано утром от её шагов за стеной, слышал, как она бежит по квартире, как будит пацана, как готовит ему завтрак, как опаздывает, как собирает одежду, как напрасно пытается навести порядок на голове, панически разыскивает обувь, отчаянно пробует кому-то дозвониться, безнадёжно доликает молоко в холодный кофе, обречённо выбегает в подъезд, бросая в сумку телефоны, таблетки и солнцезащитные очки. Я знал, что возвратится она поздно, где-то под вечер, можно никуда не спешить. Пацаном занимались. Приходили какие-то её подружки, тётки, соседки, учителя. Раз она попросила за ним присмотреть меня. Но пацан нарочно (да-да, нарочно, я видел, что нарочно) перевернул кастрюли, позвонил маме (у него телефон был дороже моего), пожаловался, расплакался. Она вынуждена была ловить такси, лететь домой. Я объяснил, она вроде и поверила, однако вместе нас больше не оставляла. Я злился и посылал проклятия на голову пацана. Откуда он тут взялся, думал, почему она в самом деле не отправит его куда-нибудь на море, на озёра, на болота, поближе к природе, к диким зверям? Пацан меня игнорировал – не разговаривал, не открывал мне двери (пренебрежительно глядя на меня в глазок, подставив под двери стул), демонстративно отказывался от еды, когда я сидел у них на кухне, включал на полную колонки, когда она говорила со мной по телефону. Я даже начал уважать его, какой принципиальный, – подумал. На самом деле он безопасный, убеждал я себя, ничего страшного. Но все мои попытки подружиться с ним ничего не давали. Он вообще не был похож на человека доверчивого и беззащитного, имел тяжёлый характер и серьёзные игрушки. Таскал в карманах химические карандаши и канцелярские принадлежности (я сам видел, как он пытался степлером прикрепить шнурки моих кед к полу, она, естественно, не поверила), носил подаренный отцом использованный газовый баллончик (ну, это она думала, что использованный), подаренный дедушкой портсигар (от него пахло табаком, я говорил ей, но она отмахивалась и не считала серьёзным), найденный где-то стетоскоп (для чего он ему? – спрашивал я нервно), взятые у кого-то гильзы от охотничьего

ружья, выкраденный у меня швейцарский нож (не отдавал, упрямо убеждая, что это его, она снова как будто и верила мне, однако нож так и не забрала). Самое плохое, что со мной она теперь почти не общалась, хотя и забегала время от времени, дверей при этом не закрывая и беспокойно всё время оглядываясь, на все мои попытки перехватить её на лестнице, заговорить с ней на улице, затянуть под какие-нибудь тёмные уютные ворота напрягалась, становилась притворно легкомысленной, навязчиво приветливой, нарочито искренней. Он всё время был где-то рядом – ожидал её, стоя на балконе, звонил ей, как только я касался её руки, просыпался, как только я среди ночи едва слышно стучал в её двери, ранил себе пальцы и обжигал язык, рвал одежду о гвозди и встревал в драку на улице, совал в рот просроченные продукты и притаскивал домой уличных псов – и всё это, лишь бы отвлечь от меня её внимание, перетянуть на свою сторону, вызвать её сочувствие или хотя бы раздражение, слёзы, смех и любовь. Она вместо этого злилась на него всё чаще, ругалась с ним всё откровеннее, одновременно с этим понимая: ну что с ним ругаться, он умный пацан, он всё понимает, всё делает правильно, чужой тут я и злиться нужно на меня. Но всё равно злилась на него. Постепенно у нас с ней сложились странные отношения, державшиеся на том, чтобы оставить парня ни с чем. Она старалась по дороге с работы вызвонить меня и возвратиться домой вместе. Ночью слала мне уведомления, спрашивала про погоду и последние новости в стране. По утрам заскакивала ко мне на миг, просто поздороваться, и сразу исчезала, оставляя после себя запах горячего хлеба. Пацан понимал, что происходит, и поэтому сразу занял оборону, хитро и с умом расставляя повсюду ловушки. Спал с её телефоном, гулял под своими окнами, залепил замок моих дверей пластилином (хорошо, что хоть пластилином, думал я), оставлял мне записки с чёрными метками и вудистскими заклятиями. Меня всё это обессиливало, я потерял сон, потерял покой, даже захотелось в какой-то миг вернуться домой. Мне было жалко пацана, откровенно тяготившегося мной, жалко её, не сумевшую найти себя между нами, а уж как жалко было самого себя – об этом лучше вообще не говорить. Так началось лето, так умерли все мои мечты.

Она зашла в пятницу под вечер, забежала с улицы сразу ко мне. Кинула сумку, оттуда посыпались визитки, блокноты, контейнер для линз. Ходила по квартире, старательно пряча от меня глаза. Говорила про жару, которая свалилась на город, про птиц, которые не давали спать, про проблемы с водой, я попытался было её перебить, но она как-то решительно выставила ладонь, будто говоря, стой где стоишь, и сказала:

– Ромео, – сказала, разглядывая обои, словно выискивая ошибки в узорах, – у меня подружка завтра замуж выходит. Пригласила меня на свадьбу. Мне не с кем пойти. Пойдём вместе.

– На свадьбу? – насторожился я.

– Это рядом, – быстро заговорила Даша, – подарок я уже купила.

– А пацан?

– Посидит дома, – сурово сказала она.

– Как скажешь. – согласился я.

– Только оденься нормально, – посоветовала Даша, подхватила сумку и исчезла в коридоре.

Наутро она стояла перед моей дверью. С пацаном, конечно, куда ж без него. Сказала, что няня заболела, что к соседке среди ночи приезжала скорая, что у знакомых в конторе проверка, одним словом, нет никого, с кем бы его оставить. Лицо у неё было припухшим от слёз, поэтому она надела большие солнцезащитные очки. Пацан смотрел на меня победителем. На руке у него болтался ролекс – паленый, но красивый.

Лучше, конечно, было бы никуда не идти. Ясно, что лучше было бы не идти. Кто меня туда тянул? Ну как кто? Она меня тянула, она. Она шла впереди в чёрном платье, с чёрной сумочкой, волоча за собой пацана и бросая на меня отчаянные взгляды. Я тащился позади,

ташил подарок (что-то стеклянное, максимум – фарфоровое) и не мог отвести глаз от её походки, от того, как она ступала по тёплому битому асфальту, как двигалась в этом своём платье, будто свадьба уже началась, будто начался праздник и надо было веселиться прямо сейчас – под акациями и липами, под синими небесами июня, в городе, о котором она так много мне рассказывала, на улицах, где с ней все здоровались. Я знал её меньше месяца, но успел привыкнуть к её торопливым движениям, к её вздорным разговорам, к теплу её рук, к холоду её глаз. Лето будет длинным, солнце будет жарким, мои радости будут сомнительными, мои муки будут адскими. Закончится всё счастливо, до конца не доживёт никто.

Свадьбу праздновали в банях. Я даже не удивился, всякое бывает. У меня знакомые когда-то даже женились в спортзале, под баскетбольными корзинами, тоже по-своему романтично. И вот здесь тоже было такое таинственное, засекреченное место: слева автосервис, справа – аптека, между ними – праздничные столы. Металлические ворота с приваренными к ним олимпийскими кольцами распахнули настежь, гости с улицы попадали в большой двор, в центре декоративный фонтан разбрызгивал воду, заливая всё вокруг, будто сломанный пожарный кран. Вывески я не заметил. Возможно, они просто не смогли придумать название для такого романтического заведения. Вокруг парковались свадебные автомобили, ближе к баням – иномарки, дальше, за аптекой, – пара боевых жигулей. Гости под утренним солнцем между аптекой и чёрными покрывками автосервиса выглядели особенно торжественно. Заходили с улицы во двор, оглядывались по сторонам, здоровались со знакомыми. Бегали официанты, ругались родственники, кричали дети, было много солнца. Даша протискивалась между гостями, ей радовались, останавливали, наклонялись к пацану, бросали на меня любопытные взгляды. Я прикрывался фарфором. Невеста мне понравилась – Дашиного возраста, невысокого роста, с короткими, крашенными в рыжий волосами, с уставшими глазами, с постоянной сигаретой, с лёгкой улыбкой, будто говорила: ничего, подождёте, без меня всё равно не начнётся. Под свадебным платьем виднелись кроссовки. Даша долго с ней о чём-то шепталась, подтянула пацана (тот, не здороваясь, вырвался и помчался к фонтану), подвела меня, представила родственникам. Невеста бросилась меня обнимать, нежно выдыхая на меня никотин. А вот жених поддулял: хотя и был старше меня, но в костюме походил на выпускника, видно было, что костюм шили на скорую руку. Черты лица резкие, волосы смазаны гелем, смотрел тяжело, с возлюбленной почти не общался, даже по имени к ней не обращался, как будто боялся ошибиться. Прятался за спины своих друзей, плотно его обступивших, как бы ограждавших от нежелательных контактов. Много кто из друзей пришёл в спортивных костюмах с командным лейблом, большинство были в солнцезащитных очках. Увидев это, я свои демонстративно снял. Даша, впрочем, от новобрачных меня быстро оттащила, приказала найти Амина. Я нашёл, давай, говорю, друг, пошли праздновать. Пацан промолчал, но пошёл. А увидев маму, стал ныть, мол, хочу домой, не хочу здесь оставаться, хочу воды, не хочу ни с кем знакомиться, хочу любви и не хочу ни с кем ею делиться. Я пробовал его чем-нибудь занять, однако Амин демонстративно от меня отворачивался и ныл всё требовательнее, кончая маму контрольными в голову. Даша долгое время делала вид, что всё в порядке, но наконец не выдержала, развернулась и нырнула в толпу. Пацан точно так развернулся и куда-то нырнул. Больше всего мешал, естественно, фарфор.

Гости толклись во дворе, заходили в бар, выходили из коридоров, чего-то ожидая, о чём-то переговариваясь. Я узнал Ивана, соседа сверху. Рядом с ним стоял тучный, диабетического вида приятель, уже набравшийся и от этого ещё более болезненный. Кроме спортсменов, бродили туда-сюда пожилые мужчины в старательно выстиранных сорочках и почтенные женщины с ярко накрашенными лицами. Протолкнулись двое, похожие на таксистов: один в кожанке, другой с наколками. Странные гости, – подумал я, – они как не на свадьбу пришли, а поезд встречать. Вдруг увидел Дашу. Стояла у стены, держала в руках вино, похоже, не первое,

смеялась, повиснув на каком-то низеньком мужике. У того было оливкового цвета заплывшее лицо, узкие глаза, пухлые губы, белая, но несвежая сорочка, дорогие, но нечищенные ботинки. Всё пытался коснуться Даши, всё пробовал пошлёпать её дружески по спине, всё хватал за руку, что-то радостно выкрикивая и посмеиваясь. Даша делала вид, что всё в порядке. Или на самом деле всё было в порядке. В мою сторону не смотрела. Весело кричала что-то узкоглазому, тоже похлопывала его, хотя заметно было, что время от времени делает еле заметный шаг в сторону, назад, в тень, так, будто у чувака плохо пахло изо рта. И когда он, будто шутя, будто случайно (на самом деле уверенно и жадно) коснулся её ноги чуть выше колена, я не выдержал и направился к ним.

– О, Ромео, – притворно обрадовалась она. – Познакомься, это Коля. – Коля протянул ладонь, даже не глядя в мою сторону.

– Подержи, – сказал я, передавая Даше фарфор. Она не ожидала, едва не выпустила подарок из рук, несколько неуклюже перехватила его, подставив снизу колено. Коля наконец обратил на меня внимание. Тут я сжал его ладонь. Была она большая и влажная, руку мою он пожал вяло и неохотно. – Роман, – сказал я, – приятно познакомиться. Даша о вас много рассказывала.

– Что рассказывала? – не понял он.

– Всякое, – не стал я уточнять.

Коля сразу как-то съёжился, затоптался на месте, похлопал меня по плечу влажно и неохотно и исчез в ближайшем коридоре. А она посмотрела на меня злобно и разочарованно, сунула свой фарфор куда-то под праздничный стол и резко заговорила. Говорила о том, что мы все её достали – и Амин, и я, что мы ведём себя, как два придурка, а она должна нас разводить, сглаживать всё, хотя она тоже не железная (тут она начала плакать, словно иллюстрируя сказанное, вот, мол, придурок, видишь, я в самом деле не железная), что она видеть нас не хочет, а когда захочет – сама скажет, поэтому, чтобы мы не лезли к ней, чтобы отцепились (отъебались), чтобы дали ей покой. Вань, – закричала она куда-то мне за спину, – курить есть? И, решительно меня оттолкнув, схватила за руку нашего соседа, который как раз куда-то решительно пробирался, и повела за собой. Диабетик поплёлся следом. Я психанул и пошёл в другую сторону. Хорошо, что праздновали здесь везде.

Где твоя уверенность? – говорил я себе. – Где твоя радость, где всё то, что ты так искал в этом солнечном мире? И пока на дворе продолжались торжества, пока пыль поднималась и опускалась на нежно-салатную траву, я сидел в баре и смотрел сериалы. Выходить мне не хотелось, пришлось бы с кем-нибудь общаться, что-то кому-то объяснять, как-то выпутываться из всего этого, пришлось бы отводить от неё взгляд, принципиально на неё не смотреть, делать вид, что не замечаю её. И вот здесь, в тёплых ранних сумерках, откуда-то из небытия на меня вышел ковбой – пассажир в ковбойской шляпе, лёгком пиджаке, в красочных шортах и разбитых вьетнамках. Увидев меня, заметил также и всю печаль в моих глазах. А потому настойчиво посоветовал идти за ним, говоря: давай, Вася, что ты тут висишь, всё самое интересное сейчас происходит возле бассейнов с холодной водой, в секторе водных аттракционов, в квадрате чёрных горячих кабин и адских испарений, и потащил меня прямо туда, поскольку, говорил, не годится так пренебрегать праздничным настроением. Разговаривая, ужасно спешил, жадно глотая согласные и скача между предложениями. Шляпа сползала ему на глаза, пот заливал ему лоб, баки его были мокрые от нетерпения, но как только он провёл меня тайными комнатами и вывел к массажному залу, я сразу понял, что всё это было не зря. Самое интересное происходило именно здесь, и огненная оголённая компания, увидев нас, набросилась на ковбоя, прославляя его, и все тёрлись о него с благодарностью, и об меня тоже тёрлись, и когда это были женщины – было мне радостно, а когда мужчины – становилось мне тревожно и хотелось кому-нибудь зарядить. И чем дальше – тем больше. А ковбой достал из кармана рыхлый душистый свёрток, что-то ценное, что-то завёрнутое в жёлтую газету, и тут всех вообще порвало, его

подхватили под руки и потянули за двери, куда-то в самый ад. Тогда я лёг на массажный стол и смотрел на холодный бассейн, в котором вспыхивали электрические огни, отражаясь от зелёной поверхности. И вокруг сновали обнажённые красавицы, сладко усмехаясь, и важно проплывали обёрнутые в махровые полотенца мужчины, бросая на меня встревоженный взгляд: свой ли, залётный ли? И время шло, обходя меня и делая присутствие моё тут случайным, а дальнейшее пребывание – лишённым смысла. И уже тогда, когда все прошли мимо меня, ушли прочь и вернулись назад, откуда-то снова появился ковбой, неся поднос с коньяком и лимонами, и вынудил меня выпить столько, сколько я смогу, а когда я сказал, что больше не могу, заставил выпить ещё. Потому что, – кричал, – когда мы ещё с тобой выпьем, Вася! Я валю отсюда, к ебням, Вася, к ебням! Международными авиалиниями Украины! Без пересадок! Просто завтра! Из невидимых терминалов! Тайными воздушными коридорами! В обход всех таможенных служб! Крестовым походом через все дьюти фри! Не декларируя ничего из украшений и банковских активов! Уже послезавтра, Вася, – пьяно и восторженно кричал он, – я буду сидеть в нормальной компании где-нибудь в районе Филадельфии (Филадельфии, Вася!), в компании маклеров и брокеров (ага, брокеров!) и пить нормальный кошерный коньяк! А не это говно, Вася! – орал он и щедро прикладывался к бутылке, – не это, совсем не это! А когда к бассейну повалила обнажённая публика, снова подхватив его под руки, я решил, что с меня хватит и что время наконец уйти.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.